

АКАДЕМИКЪ КСАНДРЪ ВЕСЕЛОВСКІЙ

## ЖЕНЩИНА

И

СТАРИННЫЯ ТЕОРІИ ЛЮВВИ

изъ поэтики розы

PN 56 .5 W64V47 1912 c.1 ROBARTS



Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto



# Presented to the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO by

PROFESSOR R.D.B. THOMSON

1934c

### Академикъ Александръ Веселовскій

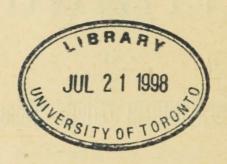
#### ИЗЪ ИСТОРІИ РАЗВИТІЯ ЛИЧНОСТИ

## ЖЕНЩИНА

И

СТАРИННЫЯ ТЕОРІИ ЛЮБВИ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ 1912



Средніе в'яка привыкли называть в'якомъ развитія личности, едва ли не ограничивая это понятіе какимъто соединеніемъ безграничной свободы съ культомъ личной силы. Сопоставленное съ общественными представленіями классической древности, гдф главнымь фактомъ, поражавшимъ изслъдователя, было подчиненіе личнаго идеала гражданскому и государственному, - такое понятіе еще могло находить себ' вн'вшнее оправданіе; но оно оказывается крайне несостоятельнымъ, какъ только мы распространимъ сравнение въ другую сторону и съ средними въками сличимъ Renaissance. Личность предполагаеть прежде всего самосознаніе, сознаніе своей особенности и противоположности къ другимъ индивидуумамъ, своей отдёльной роли въ общей культурной средъ. Если она выражается цёлымъ комплексомъ отличій и одиночныхъ признаковъ, которые уже выдълились изъ типа и называются характеромъ, то, съ другой стороны, немыслима безъ борьбы и долгой выработки, предшествовавшей выдъленію, -- но борьбы, пришедшей въ сознаніе и успокоившейся въ чувствъ побъды. Понятно послѣ этого, почему личность развивается въ эпохи богатыя борьбою, но вмёстё съ тёмъ богатыя и результатами когда извъстное прошлое устранено во имя новыхъ принциповъ, сознательно становящихся на ихъ мѣсто и ложащихся въ основу характеровъ; понятно, что только въ пору рѣшительнаго переворота въ исторіи европейской мысли, когда средневѣковое міросозерцаніе принуждено было отдать долю своего владычества античному, могли выступить Лютеръ и Джьордано Бруно, Макьявелли и Раблэ.

Средніе вѣка остановились на формулѣ типа и не добрались до личности; и они не миновали борьбы, и много ея выпало на ихъ долю, но ни одной они не разрѣшили, оставивъ вопросы открытыми для будущаго: эпоха исканія, ожиданій и попытокъ, гдв какъ будто не люди, а какія-то міровыя силы движуть исторіей, церковь и имперія, массовыя движенія и сословныя предпріятія, и чудо иногда спускается на землю на помощь людскому безсилію, и личность постоянно выгораживается высшей иниціативой. Какъ въ самомъ дълъ было развиться индивидууму, когда средневъковый человъкъ быль буквально заброшенъ самымъ страннымъ разнообразіемъ культурныхъ элементовъ, съ которыми надо было сосчитаться, —а у него не было силь найтись въ ихъ подавляющей массъ? Бытовыя преданія народа, остановившагося на начаткахъ эпоса-и наслѣдіе римской цивилизаціи; германская королевская власть—и призракъ римскаго императорства; не забытыя върованія отцовъ-и христіанство; тысячи разнообразныхъ вліяній и столкновеній-все это искало улечься и кристаллизоваться; всъ средніе въка прошли въ попыткахъ кристаллизаціи: иногда казалось, что тотъ или другой принципъ возьметъ верхъ, и Европа очутится гигантской теократіей, или построится въ одинъ сплошной кристаллъ имперіи;

но все это проходило безследно: вскоре исчезали всякіе намеки на построеніе, и въ безразличной массъ культурныхъ фактовъ снова можно было различить отдъльно бъгущія струи, безъ связи и посредства, не примиренныя въ высшемъ органическомъ единствъ; потому что чувство новой формы еще не прояснилось, и не явилось сознаніе того новаго принципа, который могь бы творчески объединить разрозненные элементы, а изъ старыхъ ни одинъ на столько не силенъ, чтобы овлальть остальными. Въ такихъ обстоятельствахъ возможно было между ними развъ сплочение, или формальное усвоеніе, гді негді было ни развиться личной иниціативъ, ни сказаться таланту, и цъльность давало всему то изъ культурныхъ началъ, которое было количественно преобладающимъ. Такимъ, естественно, являлось эпическое міросозерцаніе, которое христіанская проповёдь и классическая культура застають на почвъ, гдъ впослъдствии по преимуществу развилась драма среднев вковой исторіи. Италія и страны съ исконнымъ романскимъ населеніемъ стоятъ въ этомъ отношенін въ особыхъ условіяхъ. Характеръ среднихъ въковъ въ литературъ, жизни и общественныхъ отношеніяхъ по преимуществу эпическій, т. е. личное развитіе подчиняющій массовому. Говоря—эпическій, мы не думаемъ утверждать, что всё другіе культурные элементы, привходившіе въ эту пеструю цивилизацію, въ немъ окончательно претворились, подчинившись его творческой силъ, но принятые случайно, не найдя оцънки своему міровому содержанію и не перейдя въ плоть и кровь, они формально укладывались въ рамки готоваго міросозерцанія, какъ античныя колонны въ ингельгеймскую постройку Карла Великаго. Это только усилило то впечатлѣніе формализма, типичности, въ противоположность индивидуализму, которою вообще отличается эпическій складъ мысли. Изъ пъсни слова не выкинешь, потому что оно урочное; мысль отлилась въ такія опредъленныя слова, такъ закръплена риемою, что ей трудно изъ нея вырваться, какъ будто выхода не оставлено для ея развитія, и она осуждена въчно повторяться въ тъхъ же словахъ и съ тою же риемою. Герои chansons de geste какъ будто оттиски съ одного и того же клише, болъе или менъе ясные или затертые, но въчно съ однимъ и тъмъ же содержаніемъ и однимъ обликомъ. Мечъ у рыцаря всегда острый, стальной, съ золотою рукоятью, яркій, свътлый; его конь всегда быстрый, горячій, гасконскій либо арабскій или аррагонскій; щить-выпуклый, кръпкій, добрый, золоченый, полосатый; шлемькруглый, зеленый, полосатый, блестящій. Самъ онъ непремѣнно обладаетъ страшною мощью, грозными очами, сильною рукой, умнымъ взглядомъ; его волосы бѣлокуры, тогда какъ, наоборотъ, старика намъ постоянно рисують съ цвътущей (т. е. бълой, какъ древесный цвътъ) бородою или смъшанными (т. е. съ просъдью) кудрями; женщины-съ свътлымъ челомъкровь съ молокомъ, бълою грудью, чистымъ, прекраснымъ тѣломъ. Даже то, что есть въ человѣкѣ чисто духовнаго, сводится къ немногимъ постояннымъ отличіямъ: рыцарь, если только онъ не причисленъ къ злодъямъ и предателямъ, всегда въжливый (höfisch), мужественный, богатый, храбрый, сынъ именитаго человъка, честный, славный, сильнаго, върнаго, крънкаго духа, достойный такой-то похвалы, такой-то почести. Но и его подвиги отличаются тою же роковою

однохарактерностью; разница въ какой-нибудь подробности, въ сочетаніи обстоятельствь, протягивающихъ иной разъ нить однообразныхъ приключеній. Если забыть условія эпоса и взять во вниманіе только вижшность выраженія и стиля, заключаеть Тоблерь 1), ничего нътъ легче представить себъ все богатство старофранцузской эпики произведениемъ одного лица. Самые лирические порывы чувства подчинены той же законности эпическаго повторенія; тѣ же весенніе физіологическіе порывы въ началѣ и непремѣнный привътъ веснъ, либо вздохи по уходящему лъту, и затъмъ все та же старая реторика страсти, вращающаяся въ избитой колев одныхъ и тыхъ же фразъ. Впечатлъніе отъ всей этой лирики, гдъ всего скоръе ожилаешь выраженія личности, какое-то массовое: за немногими исключеніями, всѣ миннезингеры и трубалуры похожи другь на друга, и здёсь Диць приведень быль кь соображеніямь, которыя Тоблерь повториль почти дословно, ограничиваясь изученіемь старофранцузскаго романа. И не только въ выраженіи страсти-въ политическихъ намекахъ сирвентезъ, въ нападкахъ на римскую курію и пороки духовенстваодно и то же томящее однообразіе, такъ что всь они, за исключениемъ какого-нибудь явнаго фактическаго намека, могуть служить развѣ для огульнаго опредѣленія пдей віка и никакъ для частныхъ изысканій критики, которая вздумала бы останавливаться на мелочныхъ процессахъ историческаго развитія. Всѣми нравственными ученіями и соціальными теоріями овладъль формализмъ: стоитъ только познакомиться съ средне-

<sup>1)</sup> Zeitschrift f. Völkerpsychologie, IV, 2, crp. 157.

въковыми сборинками въродъ Vrîdankes Bescheidenheit, Winsbeke. Renner'a и др., не выключая даже Der Wälsche (fast Томазина von Zerklaere, стоящаго отчасти на почвъ романской цивилизаціи,—чтобъ убъдиться, какъ эпически монотонно передаются во всъхъ одни и тъ же правила обыденной морали, въчно выдаваемыя за новыя.

Такъ было въ литературъ, потому что самая жизнь была опутана обрядомъ и обычаемъ, ихъ въковыя опредъленія связывали всякій личный порывъ, всякій шагь человъка отъ колыбели и до гроба. Ему иначе нельзя было и двигаться, какъ по ихъ пути; путь спасенія, какъ и путь осужденія, полагался для всёхъ одинъ и тотъ же; о блаженствахъ рая, la corte del Paradiso, имълись очень опредъленныя представленія, и они однообразно манили всякаго, какъ однообразно запугивали весьма опредъленные загробные страхи. Понятія о прав'т выражались цільмъ рядомъ эпическихъ формулъ, оковавшихъ всѣ отношенія общественной жизни, какъ обычай разъ навсегда установилъ отношенія домашнія. Когда впослѣдствіи открытіе римскаго кодекса объщало обогатить его содержаніемь юридическія понятія в'вка, онъ очутился въ рукахъ темныхъ глоссаторовъ, спорившихъ о преимуществахъ пацства и имперіи, простою формулой, такъ какъ отъ богатства античнаго философскаго умозрвнія, заввшаннаго среднимъ въкамъ Боэціемъ, не осталось ничего, кромъ виъшнихъ діалектическихъ пріемовъ да силлогизма и эпически-формальной распри между реалистами и номиналистами. Такъ наслъдіе античной мысли поплатилось своимъ виутреннимъ смысломъ особенностямъ средневъковаго міросозерцанія. И съ христіанствомъ случилось нѣчто подобное: оно застало на мъстъ массу обрядовъ и миновъ, въ которыхъвыразились своеобразныя религіозныя представленія въ ихъ проникновении съ жизнью; застало извъстный кодексь нравственныхъ понятій, освященныхъ культомъ и обычаемъ; и оно поступилось своимъ чистымъ содержаніемъ, обстановилось новою обрядностью, создало легенды и свое нравственное ученіе пріурочило къ существующему. Такъ относительно высокое положеніе женщины, отведенное ей въ посланіяхъ апостола Павла и писаніяхъ первыхъ отцовъ церкви, заміняется у средневъковыхъ моралистовъ, стоящихъ на почвъ церкви, тѣмъ одностороннимъ воззрѣніемъ, котораго лучшій примірь представляють притчи о злыхь женахъ. Шерръ не надивится такому результату: съ одной стороны ему припоминаются доблести германской женщины по Тациту, съ другой апостолъ Павелъ, Августинъ и Тертулліанъ, и онъ не знаетъ, какъ изъ всего этого могъ выработаться среднев вковой типъ. Но если свъдънія, сообщаемыя римскими памфлетистами, попеволъ одностороннія, то и вліяніе церкви было на столько же одностороннее: призванная учить, отводя язычниковъ отъ плотскихъ побужденій къ жизни духа, очень естественно, что она скоръе останавливалась на такихъ общественныхъ явленіяхъ, которыя, казалось ей, отступали отъ ея идеала, были гръховны ей надо запугать плоть, и она дѣйствовала болѣе отрицательными средствами: злыя жены привлекли ея вниманіе передъ добрыми, а среднев вковой складъ мысли помогь этимь женамь обобщиться въ эпическій типъ злой жены, раздутый до нельзя послёдующимъ развитіемъ аскетизма.

Мы не можемь не остановиться здёсь еще на одной сторонъ средневъковой жизни, тъсно связанной съ тъмъ же направлениемъ мысли и отчасти въ немъ коренящейся: мы говоримъ объ узкомъ развитіи сословнаго начала, кладущемъ отпечатокъ на все общественное устройство. Какъ личность еще не успъла выдвинуться изъ условнаго эпическаго типа, личная иниціатива разорвать путы обряда и обычая, такъ естественное понятіе народности едва нам'вчено на широкомъ фонъ средневъковой исторіи, и общественныя силы, въ ней дъйствующія, исчерпываются столь же условною категоріей касты. Церковь и имперія, рыцарство и духовенство, горожане и народъ, поднимающійся вслъдъ за городами: весь смыслъ средневъковой жизни въ этомъ ръзкомъ разграниченіи сословій, въ этой архаистической постепенности, нашедшей свое высшее выраженіе въ феодальномъ порядкъ рыцарства и чинопочитаній римской іерархій; потому что о народъ еще никто не думаетъ, города еще только начинаютъ добиваться самостоятельнаго голоса въ исторіи: пока она въ рукахъ двухъ сословій, ставшихъ передовыми вслъдствіе преданій германскаго бытового устройства, случайностей завоеванія и культурных вліяній. Какимъ образомъ такое сословное разграничение должно было повліять на эпическій формализмъ мысли и устойчивость общественных в представленій, отличающую средневъковое развитіе-понятно само собою. Сословное начало непремъпно ведетъ за собою извъстнаго рода косность, туго поддающуюся вліяніямь; въ касті всякое преданіе, какъ ни мало оно осмыслено, сохраняется тёмъ крёпче, чёмъ условнёе самый принципъ дъленія, мъшающій постоянному обмъну силь. Прибавимъ къ этому, что средневъковая сословная категорія переходила далеко за предѣлы естественной народности и потому лишена была естественной почвы. которая могла бы давать ей самостоятельное содержаніе: одна церковь распространялась на всю Западную Европу, ея интересы связывали безразлично все духовенство, какой бы страны оно ни было; нъмецкое рыцарство подавало руку французскому въ борьбъ ли съ маврами, въ крестовыхъ походахъ или предпріятіяхъ противъ городовъ, -- и крестьянское движеніе быстро охватывало страны, раздъленныя естественными и политическими границами (крестьянскія войны XVI столътія; солидарность французскихъ и нидерландскихъ городовъ въ XIV-XV вв.). Такое отсутствіе народной базы съ своей стороны приводило къ еще большему застою развитія, и когда впослѣдствін объявится необходимость въ новомъ соціальномъ принципъ, который бы обновиль развалившійся общественный организмъ, ни рыцарство, ни духовенство не дадуть его: рыцарство изжилось до суфонъ - Лихтенмасшедшихъ подвиговъ Ульриха штейнь, до Sattel-Narung Мурпера и разбоевь по большимъ дорогамъ; оно даже проходить безъ шуму, перекладывая въ мелкую прозу звучные стихи свопоэмъ, когда-то отвъчавшихъ дъйствительности; церковь дълаеть съ XI-го въка безсильныя попытки обновленія, которому не изъ нея суждено выйти. Новый принципь является въ исторіи съ новою силой городовъ, помогающей народному королевству развиться на обломкахъ сословнаго строя; потомъ и первое обновление церкви пойдетъ по слъдамъ народнаго протеста.

Намъ кажется, что эпическій складъ среднев вковой жизни и сословная замкнутость, ставшая его общественнымъ выражениемъ, равно выгораживаютъ понятіе о самостоятельности и самоопредъленіи, которое мы привыкли соединять съ личностью. Не только вся жизнь была напередъ опредѣлена до мелочей всякаго рода условностями обычая, примъты и повърья, но человъкъ иначе и не являлся, какъ въ указной сословной рамкъ: онъ непремънно былъ или рыцаремъ, или духовнымъ лицомъ, либо вилланомъ, неся на себъ всю подавляющую массу сословныхъ ограниченій. Изъ числа эпитетовъ, однообразно очерчивающихъ средневѣковаго героя, всего страннѣе насъ поражають эпитеты сословнаго характера, которые заимствованы отъ роду-племени: ръдко поминается рыцарь, чтобъ его не назвали сыномъ того, либо другого храбраго мужа, и не только при первомъ упоминаніи его, но и впослѣдствін, когда, повидимому, ничто не вызываеть подобнаго указанія, кром' эпической распущенности п'вица и его любви къ полнотъ пъсеннаго разсказа. - Но средневъковые морадисты предлагають намъ еще болъе знаменательныя указанія: воспитаніе рыцаря, конюшаго, искусъ монаха становятся предметомъ особыхъ спеціальныхъ трактатовъ, подобно тому, какъ писались трактаты о соколиной охотъ и ратномъ дълъ 1). «Наставленія правителю», многочисленныя, какъ буддистскія Niticastra, протягиваются по всёмъ среднимъ вѣкамъ, начиная отъ Egidio Romano до элегантнаго произведенія Караффы de'Maddaloni и Guillaume Budé.

<sup>1)</sup> Въ старо-французской литературъ извъстны: Le doctrinal des bons serviteurs, des femmes, des filles, des femmes mariées и т. п.

Въ XV въкъ маркизъ де-Сантильяна пишетъ свое зерцало придворнаго человъка. Вездъ одна и та же сословная нравственность, не выходящая за предълы касты, изъ которыхъ каждая руководится своими особыми принципами, мало обязательными для всякой другой.

Насъ этотъ вопросъ интересуетъ въ особенности по отношенію къ положенію женщины. Извъстно, какое видное мъсто она занимаетъ въ исторіи личности, какимъ плодотворнымъ началомъ въ поэзій сказывалась всякая попытка признать за ней индивидуальное значеніе-хотя бы, на первыхъ порахъ, на степени индивидуализированія страсти. Это извиняеть слідующій. довольно подробный анализъ.—Въ XIII—XIV вв. Франческо да Барберино пишеть свой Reggimento delle donne 1). Онъ предполагаетъ дать наставленіе женщинамъ всъхъ возрастовъ и общественныхъ отношеній: дівушкі, невісті, замужней, вдові и т. п.— Но всякое наставление строго сообразуется съ ея мъстомь въ лъстницъ сословій. Это отражается и на внъшнемъ распредъленіи книги 2). Другое дъло дочь императора, дибо вънчаннаго короля, другое-дочь маркиза, герцога, графа или барона; на третьей степени стоить дочь гербоваго рыцаря (cavalier da scudo), либо именитаго судьи или медика, или другого именитаго человъка, котораго предки, какъ и онъ самъ, «умъли содержать честь (mantener onore), въ чьемъ домъ во-

<sup>1)</sup> Мы цитуемъ по паданію Mansi (Milano, Silvestri), принимая нѣкоторыя исправленія текста, предложенныя Гальвани (Propugnatore, anno IV. disp. 1 e 2: Reggimento delle donne di M. Franc. da Barb.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Introd. pp. 34—5 (E questo livro già—Conviene ognuno con senno passare).

дились или водятся рыцари» 1). И затемь размеры, если не самый принципъ, нравственно-обязательнаго еще разъ мѣняются, когда идетъ дѣло о «дочери купца или простого человѣка, не знатнаго родомъ, какихъ много, ремесленниковъ и другихъ, изъ которыхъ иные богаты и хотять жить на благородную ногу, хотя имъ и не прилично слишкомъ высоко лѣзть въ гору» 2). Ниже авторъ спускается рѣдко, въ его представленіи масса не имъла никакого прочнаго сословнаго строенія, онъ даже опасается, чтобы сопоставление съ нею иные не приняли за безчестье 3), и потому, слегка коснувшись (parte XI—XIV) должности горничной (cameriera), служанки (servigiale), няньки (bàlia) и рабы (schiava), онъ ограничивается быстрымъ обзоромъ тёхъ различныхъ положеній, въ которыхъ можеть найтись женщина рабочаго класса: цирюльница (barbiera), булочница (fornara), зеленщица (treccola), ткачиха, пряха, мельничиха, курятница, молочница (сырница), нищая, торговка, послушница, трактирщица—на все это отведены 4 страницы изъ 309 цълаго трактата. И авторъ готовъ бы подвести подъ рубрику «женщины простого сословія», di comune stato, даже тѣхъ несчастныхъ и распутныхъ, которыя за деньги продають свою честь, еслибъ его не удерживалъ естественный стыдъ 4). Во встхъ другихъ случаяхъ онъ строго держится сословной точки зрънія, и если иногда, забывая свои категоріи, подаеть общія правила, то всегда съ наставле-

<sup>1)</sup> Ib. parte I, p. 34-5.

<sup>2)</sup> Ibid.

<sup>3)</sup> Ib. p. 53—4 (Or lascio qui di dire D'alquanti gradi—Di molte altre grandi, che dette son di sovra).

<sup>4)</sup> Introd. p. 37.

ніемъ, чтобы всв пользовались ими, насколько кому нужно и прилично. «Я не думаю разделять (по сословіямъ) эту третью (главу), ни ділать различіе по степенямъ: потому что здёсь поданы нёкоторыя общія замъчанія, предостереженія и наставленія, которыми каждая можеть для себя воспользоваться, взявъ въ расчеть свое положение и звание, и стараясь быть умъреннъе въ тъхъ вещахъ, которыя лучше предоставить тому, кто поваживе» 1). И въ другомъ мъстъ онъ повторяеть тоть же наказъ-не выходить изъ своихъ сословныхъ границъ и почтительно относиться къ выше поставленнымъ, потому что не случайное богатство дѣлаеть человъка, а добродътель—и порода, прибавляеть спохватившись Франческо<sup>2</sup>). Это опредѣляетъ и степень требованій, и степень потребностей: если оть обыкновенной женщины ожидается, чтобы она не была слишкомъ говордива (parliera), то королевъ, поставленной въ другія условія, разръщается и гораздо больше. «Вы хорошо знаете, что если королева иной разъ хвалится и говоритъ свысока и во множественномъ числѣ, то въ простой женщинѣ это неприлично» 3).

Дъвушкъ царскаго рода авторъ предоставляетъ учиться чтенію и письму: «еслибъ ей случилось остаться повелительницею страны пли вассаловъ, она, такимъ образомъ, можетъсдълаться способнъе къ правленію» 4). Высшему сословію онъ уже боится позволить это занятіе (sovra questo punto Non so ben ch'io mi dica),

<sup>1)</sup> Parte III, сл. parte IV, стр. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Parte II, p. 75 (Che l'avere non face—Di quella ch'à l'avere, e la nazione).

<sup>3)</sup> Parte V, p. 127, ca. parte XVI, p. 257.

<sup>4)</sup> Parte I, p. 45.

подъ тъмъ предлогомъ, что оно можеть дать сильную пищу соблазну; онъ готовъ совсёмъ его отсоветовать даже тъмъ, кто готовится въ монашеское званіе (јо loderia del no ancor di queste), еслибъ не боялся оскорбить его чтителей, — но его заставляеть говорить правда <sup>1</sup>). Что касается до дочерей купцовъ и другихъ подлыхъ людей, то въ нихъ это занятіе не только не похвально, но достойно порицанія 2). И далъе, чъмъ ниже мы спускаемся по общественной скаль, тым меньше правъ, но тъмъ менъе и стъснительныхъ усло вій: веб они достались на долю высшаго круга, отдан наго всякаго рода формальностямъ приличія и обычая,—не даромъ въ немъ туже сохраняется извъстная традиція общежительности, только что эпическое «Вѣжество» стало тамъ этикетомъ. Къ низшимъ классамъ авторъ, очевидно, менъе требователенъ: онъ расширяеть для нихъ свою программу; для нихъ, правда. обязателенъ рыцарскій идеаль (traendo sè alli detti costumi, parte I, стр. 53), но не въ тойстепени (pigliandola più larga, ib.), потому что, не пользуясь полной мёрой преимуществъ, соединенныхъ съ положеніемъ, они по справедливости освобождены и отъ его стѣсне-

<sup>1)</sup> Parte I, pp. 49-51.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Іb. р. 52. Въ другомъ мѣстѣ своего труда авторъ предполагаетъ замужнюю женщину грамотною и на такой конець рекомендуеть ей: si usi (l'Ufficio della nostra Donna in prima), E's'ella puote l'Ufficio ancor tutto; (Poi a diletto santi libri, e buoni) Usi di leggere, et imprender sempre. (Parte V. р. 148). Тъмъ строже выборъ чтенія для произнесшихъ иноческій обѣтъ у себя на дому (Di quella ché in sua casa Abito prende di Religione): Ogni Trattato, e Novelle di amore (E legger d'Arme, e simiglianti cose) Lassino a quelle che nel mondo sono (Parte

ній <sup>1</sup>). Такъ неразборчиво переносить авторъ понятія своего круга на другіе, ниже стоящіе и потому являвшіеся чёмъ-то недоразвившимся, служебнымъ по отношенію къ его собственному; онъ забываль, что каждый изъ нихъ по идеё вёка окруженъ былъ не менёе эпическимъ формализмомъ своихъ обычаевъ и примётъ, на столько же обязательныхъ для него, на сколько общество автора, какъ болёе развитое, уже успёло чтойти отъ нихъ и отнестись къ нимъ критически. Закъ онъ еще вёритъ въ колдовство и дурной глазъ въ суевёрные рецепты и привораживанье, но уже отсовётываетъ древній свадебный обрядъ—сыпать жито при вступленіи въ домъ молодой <sup>2</sup>).

Изъ приведенныхъ цитатъ ясно, какъ интересны для характеристики средневъковаго быта и средневъковой женщины въ особенности наставленія Франческо да Барберино. Это заставляетъ пожалътъ, что съ тъхъ поръ, какъ Гальвани возобновилъ гипотезу Федериго Убальдини, Мальябеки и другихъ, о принадлежности части Novellino нашему Франческо, никто не сдълалъ его предметомъ особаго изслъдованія. А между тъмъ онъ его положительно заслуживаетъ. Тосканецъ родомъ, въ эпоху начинавшейся самостоятельности тосканской литературы, успъвшей отчасти устра-

<sup>1)</sup> Parte I, p. 45. Che quanto ell'è maggiore,—Quanto ha più onor, ch'a molti è quasi sdegno.

<sup>2)</sup> Parte XVI, p. 285 (Non ti fidar di quelle vanitadi—Che sono augurio, e non piacciono a Dio) и вообще стр. 281—7; стр. 143, 230—231 (Chè perlo fiso guardar è periglio—Ché'l guardo corrompe lo specchio), 243—4: Non dare a lor cavalli (Mangiar cosa da falli rattenere), Né legar lor colle sete le giunte; E non l'incavrestar la notte in prova, (Сл. ночныя поъядки въдъмъ); 256 (indovino; 276).

нить вліяніе французскихъ и провансальскихъ образцовъ, онъ все еще не можетъ отъ нихъ отделаться, потому ли, что четырехлътнее пребывание во Франціи и при Авиньонскомъ дворъ (1309—1313) оставило на немъ свои слъды, или въ немъ не было достаточно творческой силы, чтобы принять все это въ плоть и кровь и не остановиться на внѣшнемъ подражанін. Онъ не только цитуеть по преимуществу трубадуровъ, -- вся его дъятельность носить на себъ исключительно провансальскій типъ: таковы его канцоны въ доинъ Костаниъ, которая, какъ и въ Convito Данте. объявляется аллегоріей; его Documenti d'Amore и Del Reggimento e dei costumi delle donne, начатые около 1290 года, и потерянное для насъ Fior di novelle. по содержанию и заглавию подходящее къ Fiore de'nobili монтальтскаго монаха. Онъ и въ языкѣ не избѣгаетъ провансализмовъ и, если иншетъ in comun volgare<sup>1</sup>), то затъмъ, чтобы быть понятнымъ большинству (per la gente<sup>2</sup>), особенно женщинамъ. Такъ научаетъ его въ введенін къ Reggimento мадонна Onestate: «Я хочу, чтобы твоя ръчь не была темна и могла быть понята всякой женщиной; ты не будешь говорить въ риомахъ, чтобы изъ-за риомы не удаляться отъ настоящаго смысла: но чтобы порой доставить удовольствіе

<sup>1)</sup> Parte II, p. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Parte IV, р. 83. Противоположеніе testo volgare и testo letterale, можеть быть, имѣеть здѣсь и другое значеніе, не спеціально языковаго различія. Воть самое мѣсто: Jvi è (т. е. въ Documenti d'amore) uno testo volgare per la gente (Ch'a più non è intendente), E intorno a quello un testo letterale, (Per chi sa, e vale). E poi intorno ancor di questi due (Son chiose letterali; Dove s'adducon tutte simiglianze, (E concordanze di molti altri detti), De savj e filosofi, etc.

читателю, ты пересыплешь (твой разсказъ) хорошенькими пъснями (gobbolette) и въ примъръ приведешь игривые разсказы (belle novellette). И будешь ты говорить по народно-тоскански, примъщивая кое-что подходящее изъ народныхъ языковъ тёхъ странъ, въ которыхъ ты всего болѣе жилъ, выбирая хорошее. а негодное оставляя. Все это о народномъ языкъ мы говоримъ тебѣ ради дамы, побудившей тебя (къ труду), достойной всякой любви и почитанія» 1). Это тоть же пріемъ, что и у Данте, только его филологическій такть, ограничивавшійся выборкой изъ итальянскихъ наръчій, шель уже въ уровень сътьмъ національнымъ самопознаніемъ, которымъ Италія опередила всю Европу; тогда какъ Франческо еще стоитъ на сословной почвъ среднихъ въковъ, когда латинскій языкъ быль языкомь церкви и науки, провансальскій-языкомъ рыцарской поэзіи и т. д. Въ этомъ отношеніи онъ представляеть явление анормальное: эпигонъ трубадуровъ въ половинъ XIV въка (1264-1348), въ эпоху развитія городской жизни, приведшей съ собою новые принципы нравственности и болъе свободныя формы общежитія, онъ продолжаеть серьезно вфрить въ состоятельность рыцарскаго кодекса, какъ онъ былъ разработанъ трубадурами. Этотъ кодексъ онъ лучше всего выражаеть въ его общихъ положеніяхъ, такъ сказать, въ разръзъ, въ томъ, что въ немъ было для всъхъ обязательнаго, обычнаго, не идеальнаго, безъ порывовъ павоса и увлеченія, которые иногда выводили трубадура на встръчу новому идеалу, не осуществимому на почвъ исключительно сословныхъ инте-

<sup>1)</sup> Introd.. pp. 31 · 2.

ресовъ. Дъвушка, женщина, какую представляетъ намъ Франческо, не идеальная, а такая, какою она была въ дъйствительности, какою не могла не быть при условіяхъ извъстнаго этикета и строгой обрядности жизни. Дъвочка (fanciulla) царскаго рода должна была постоянно находиться при матери и старшихъ и никогда не выходить въ общество мужчинъ безъ позволенія, безъ сопровожденія дядекъ и мамокъ (bàlie o balj); того и гляди, что при народъ кто-нибудь съ ней пошутить, и оть того причинится ущербь ея чести. На людяхъ пусть не поднимаетъ глазъ, потому что умный человъкъ по глазамъ тотчасъ угадаетъ и мысль (Lo'ntendimento dell'altrui coraggio), и та умна, кто такъ умъетъ ее скрыть, что никто по наружному виду до нея не доберется. Къ разговорамъ ей надо прислушиваться, научаясь хорошимъ словамъ, а не стараться говорить самой, потому что легко ощибиться къ своему вреду и стыду, —неурочная ръчь плодовъ не приносить; Сенека, Соломонъ и многіе другіе хвалять молчаливость, а Ugolino Bozzuola сказалъ при случав, что заблуждается тотъ, кто, говоря, думаетъ извлечь пользу (Chi vuol parlando trarre, Folle pensier accoglie). Bcb ея дёйствія должны отличаться стыдливостью: это великая добродътель. Если къ ней обратятся съ вопросами, пусть отвъчаеть, но говорить тихо, не дълая излишнихъ тълодвиженій; въ дъвочкъ излишняя подвижность означаеть избалованность, во взрослой-перемънчивое сердце. Въ ъдъ надо быть умъренной и пить мало, чтобы не вкоренилась дурная привычка: и мужчинъ пьянство неприлично, тъмъ болъе женщинъ. За объдомъ не наваливаться на столъ и локтей не класть, мамкъ на шею не въшаться и голову руками не подпирать; и если вообще рекомендуется молчаливость, то здёсь особенно 1). Отепь ли, мать ли, или подруга попросить ее спъть, -- не заставлять просить себя слишкомъ долго и пъть тихо, опустивъ глаза и обернувшись лицомъ къ старшему. Также и плясать слъдуеть скромно, не подпрыгивать какъ скоморошницы, чтобы въ людяхъ не сказали, что она повихнулась (Ch'ella sia di non fermo intelletto). Та же скромность, но вмъстъ съ тъмъ и заботливость, рекоменичется въ туалетъ: еще lo Schiavo<sup>2</sup>) сказалъ, что та красота болъе нравится, которая прочнъе, а прочнъе та, что естественнъе. -- Ахать и громко смъяться не слъдуеть, потому что показывать зубы неприлично; точно также и плакать надо про себя, втихомолку, а не голосить. Ни божбы, ни дурного слова; пусть чаше обращается къ своимъ наставницамъ, научаясь у нихъ и у матери добрымъ обычаямъ, какъ стоять въ церкви, какъ молиться и говорить Pater noster. Если случится, что какому-нибудь кавалеру поручать проволить ее, или подсадить ее на лошадь, либо въ экипажъ (in gabbia over carriera), пусть сдълаеть это, скромно подавь ему руку, стыдливо окутавшись (de' suoi panni chiusa) и потупивъ глаза. Въ эту пору можно, если покажется, начать обучать ее и грамоть, лишь бы на-

<sup>1)</sup> Правила, какъ держаться за объдомъ, часто встръчаются въ средневъковыхъ сборникахъ поученій, начиная съ Le XXX cortesie di tavola Bonvesin'a de la Riva, изданныхъ Biondelli и недавно Муссафіей, до Тесмофагіи, переведен. Себастьяномъ Брандтомъ.

<sup>2)</sup> Lo Schiavo, упоминаемый здѣсь, очевидно lo Schiavo di Bari, съ именемъ котораго въ Италін соединяли такое же множество традиціонныхъ изреченій, какъ и съ именемъ стредневѣковаго Катона. Маплі, надатель Del Reggimento, этого не поясняетъ.

ставницей была женщина и вообще особа хорошо извъстная: потому что довърчивость причина многихъ золъ, и въ этомъ возрастъ все принятое прочно укореняется.

Переходя затъмъ къ другимъ условіямъ, мы безразлично встръчаемся съ тъмъ же характеромъ поученій при меньшей строгости въ приложеніи. На степени, напримѣръ, родовитато рыцаря дѣвочкѣ позволительно болфе играть, гулять съ подругами и смфяться, но и болѣе пріучаться къ труду, вязать, шить и прясть, чтобы было чёмъ отогнать скуку, когда выйдеть замужъ; наконецъ. и на случай нужды-вѣдь еще не извъстно, какъ можетъ повернуться судьба. Не худо также, чтобы она знала готовить на кухнъ: тотъ только и умъетъ хорошо подать (tagliare ad un signore), кто самъ лакомка и знаетъ лакомые кусочки, какъ о любви говорится, что не умфеть о ней говорить того, кого не коснулись ея стрёлы. И авторъ вскоръ затъмъ прибавляеть наставление-не принимать ласки и поцѣлуевъ отъ мужчины, развѣ отъ отца, да и то застылившись, чтобы и относительно другихъ стыдливость перешла въ привычку. Подарки исключаются, потому что вызывають на взаимность и ведуть за собой дурную славу. Дъвушка инзшаго класса поставлена самыми условіями жизни въ еще менте сттснительное положеніе: ей надо работать дома и внъ дома, необходимо часто выходить, и туть некогда думать, обута ли она, причесана и одъта ли, какъ слъдуетъ 1).

Мы покончили съ Fanciulla; слѣдующая глава <sup>2</sup>) приводитъ насъ уже къ дѣвушкѣ (Giovane), къ воз-

<sup>1)</sup> Все выше изложенное извлечено изъ I части.

<sup>2)</sup> Ib., parte II.

расту, въ которомъ, какъ говорить Соломонъ, трудно сулить о человъкъ, что изъ него выйлеть. А между тъмъ, всъ выглялывають себъ невъсту въ этомъ возрастъ, и по немъ устанавливають свой выборъ. Положеніе дівущекь вы высшей степени затруднительно: въ цълой книгъ не прописать опасностей, какимъ опъ подвержены, какъ относительно Бога, такъ и для чести, которую мы называемь мірскою. Туть требуется большая острожность, и тъмь болъе, чъмъ выше общественное положение. Прежде всего рекомендуется дъвушкъ затворничество: не показываться ни у окна, ни на балконъ или у дверей и ни въ какомъ общественномъ мъстъ; подавать видъ, что ей непріятно, если кто ее увидить, и если случайно она на кого-нибудь взглянеть, не улыбаться и не останавливать на немъ глазъ, потому что иногда короткій взглядь обнаруживаеть долгую любовь; не разъ бывало, что по неосторожному взгляду заключали о любви, о которой викому и не снилось. Вся жизнь должна сосредоточиться дома: на люляхъ бывать лишь случайно и насильно, и тогда тихо, скромно, молчаливо; дома, при своихъ, можно поговорить и повеселиться, иногда (una fiata) сить какую-инбудь хорошую ивсенку (Alcuna bella e onesta canzonetta); или наставинца ея займется музыкой, если сама она еще не умѣетъ играть на mezzo-cannone, віол'в или арф'в, приличной знатной дам'в (ch'è ben da gran donna), лишь бы не на какомъ скоморошьемъ инструменть. И здъсь снова приводится на намять. чтобъ учила ее тому женщина; если она не живетъ въ домв. а только приходить учить. -- не худо, чтобы при урокъ присутствовала одна изъ наставинцъ. Въ саду, когда старшія плетуть вінки, и ей захочется сділать то же, пусть выбираеть самые свъжіе и мелкіе цвъты и сплететь себъ гирлянду, которую мамка ей наколеть, потому что ей неприлично имъть зеркало. Если у ней нъсколько гирляндъ, она можеть снять, какая ей менње нравится, и отдать припрятать, чтобы она какъ не попалась въ руки человъка, за ней ухаживающаго (d'alcuno amante); точно также не слъдуеть одъвать готовую гирлянду, которая случайно нашлась бы въ саду, если ей незавѣдомо, что сплели ее гулявшія съ ней дамы. Все это для предупрежденія, но и для привлеченія вм'єсть: авторъ, наприм'єрь, сов'єтуеть діввушкъ не слишкомъ часто ходить въ церковь, потому что чёмъ вещь рёже, тёмъ дороже, на рёдкій металлъ больше и охотниковъ; если же на бъду у ней какой-нибудь природный недостатокъ, то чёмъ меньше его замътили, тъмъ лучше. Можно молиться и дома, длинныхъ молитвъ не нужно, лучше короткая, но искренняя, она върнъе доходить до неба, потому что Господь взыскиваеть сердца и не ищеть кольнопреклоненій (E Dio non va cercando Pur romper di ginocchia). Когда молишься, не дълай, какъ тъ, что просятъ у Бога сохранить ихъ цвъть лица и бълокурые волосы, послать имъ нарядовъ и сдёлать ихъ красивыми надо всѣми.

Тѣ же самыя правила прилагаются съ обычными ограниченіями къ другимъ кругамъ общества, только что здѣсь самыя условія возраста могутъ иногда повести къ усиленной строгости дисциплины. Дѣвушка, высоко поставленная въ обществѣ, самымъ положеніемъ своимъ гарантирована отъ нескромнаго взгляда и тому подобныхъ возможностей; на болѣе низкой соціальной ступени эту внѣшнюю га-

рантію должно зам'внить усиленное чувство само-

Дъвушка тъмъ болъе должна беречься: если кто засмотрится на нее, ей не надо показывать виду, что она это замътила, и не слъдуетъ удаляться тотчасъ же, а немного погодя, какъ будто за чъмъ-нибудь другимь. Если кто, говоря съ ней, предложить ей что-либо противное ея чести, сдёлай такъ, какъ будто его не понимаешь, и не смотри на него потомъ, чтобы онъ не заключилъ изъ того о твоемъ сочувствін. Если это случится разъ, не говори о томъ никому, дабы не дать повода къ враждё и жестокимъ распрямъ, которыя изъ того проистекають; если предложение повторится, отвъчай съ видомъ оскорбленнымъ, что онъ сумастедшій и дорого поплатится за свое безуміе, и тогла же сообщи обо всемъ матери, которая уладить дёло. Главное туть: стараться избёгать новыхъ поводовъ къ разговору. Можеть случиться и такъ, что къ тебъ подошлють какую-нибудь переметчицу (alcuna messagiera), тогда надо ее встрътить такъ, чтобы ей уже никогда болѣе не захотѣлось вернуться. Но теперь такое время настало, вздыхаеть авторъ, что та считаеть себя лучше другихъ, за которой болье ухаживають: одного она водить за нось, надъ другимъ смъется и до тъхъ поръ шутить съ огнемъ, пока шутка не обратится въ дъйствительность.

Слѣдующія двѣ части 1) представляють по отношенію къ предыдущему п послѣдующему какъ бы добавочныя статьи, но въ нихъ-то всего болѣе выразился характеристическій складъ средневѣковой пра-

<sup>1)</sup> Parte III e IV.

воучительной мудрости. Въ первой говорится о дъвушкѣ, засидѣвшейся безъ мужа; настоящая пора подагается 12-ти лътъ 1); во второй о томъ, какъ ей быть, когда, засидъвшись, она, наконець, выйдетъ замужь. Въ ней уже нътъ прежней наивности, по она и не состарилась: оттого ей рекомендуется во всемь золотая средина умфренности, pigli una maniera temperata 2), умъренность въ нарядахъ, въ выраженій радости и горя, въ отношеніяхъ къ мужу; надо избъгать разговоровъ о любви, показывая простодушное незнание въ ней, и какъ она совсъмъ не искала замужества, но рада, что все такъ случилось. Самыя неестественныя, случайныя положенія подводятся такимъ образомъ подъ рубрики условнаго обычая, и во всемъ замътно отсутствие идеальнаго элемента. Засидъвшейся дъвушкъ не даютъ покоя страсти, въ ней происходить борьба, сильные враги ее окружають, готовые воспользоваться ея довърчивостью, потому что это возрасть, легко поддающійся обману, склонный къ запретнымь наслажденіямъ. Оттого ей опасно слушать новеллы и канцоны и трактаты любви, не надо употреблять горячительныхъ яствъ, и вино пусть будеть ея врагомъ,въ винъ-корень сладострастія, сказалъ мудрецъ (il savio). Много помогаетъ модитва, хорошо также посить на себф топазь, умфряющій плотскіе порывы, но главнымъ образомъ: «люби честь и честичю молитву,

<sup>1)</sup> Стр. 78: passati li dodeci anni senza maritaggio.—Таковъ былъ римскій обычай, перешедшій и къ древнимъ христіанамъ. См. Fridländer. Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms (2-ое изд.), т. 2-ой стр. 467—475.

<sup>2)</sup> Parte IV. cmp. 92.

бойся стыда и живи стыдливо, размышляй онизости порока и—не теряй надежды на почтеннаго супруга». Всв завътныя стремленія прозаически сводятся къ браку, къ исканію мужа, все горе д'ввушки въ томъ, что она еще не успъла пристроиться, и мадонна Pazienza не иначе ее утѣшаетъ, какъ завѣреніемъ, что не все замедлившееся потеряно: Non ogni cosa si perde, se tarda 1) Ни слова о томъ, что собственно мы называемъ любовью, о поэзін первой встрѣчи и ухаживанія, о domnejar провансальцевь, одинив словомъ, о всемъ томъ, что у трубадуровъ и миннезентеровъ идеально окрашиваетъ реальное выражение страсти. По строгимъ узаконеніямъ среднев вковой нравственности любви не полагалось, или мы только не признаемъ ее подъ облекающими ее обычными формами, потому что не въ сплахъ перенестись совершенно къ условіямъ жизни, ставшей для насъ далекимъ прошлымъ. Нельзя, напримъръ, не сознаться, что изображение брака и первыхъ дней замужества не лишено у нашего автора 2) извъстной доди поэзін, но эта поэзія обычная, обрядовая, эпическая: это та же поэзія, какую представляеть свадебный обиходъ любого народа, еще не вышедшаго изъ эпическаго строя; чувствуется, что въ почвъ, на которой стоишь, культурныхъ элементовъ количественно больше, но принципъ, ихъ объединяющій, одинъ и тотъ же тамъ и здъсь.

Авторъ хотёль бы тотчасъ приступить къ дёлу, т. е. познакомить насъ съ дёвушкой, дождавшейся

<sup>1)</sup> Parte III, p. 77.

<sup>2)</sup> Parte V.

мужа (dappoi ch' ella e giunta al marito 1), но онъ предлагаеть напередь нъсколько общихъ совътовъ невъстъ, съ постоянной ссылкой на существующе въ странъ обычан (considerata l' usanza del loco. p. 98. Quella maniera, modo ed osservanza Che da el раеве, р. 101 и т. п.). Стыдливость и боязливость (vergogna, temenza e paura)—вотъ что должно отличать ее; въ день обрученія, скромно потупившись, она не должна подавать руки первая, а подождать, чтобы ее взяли, будто силой; на заповъдныя слова: согласна ли она (vole' voi consentire), отвъчать лишь но третьему разу, и чёмъ она моложе, тёмъ боле чиниться и показывать сопротивленія. По окончаніи обряда ей слъдуеть еще нъкоторое время оставаться съ дамами и съ мужемъ говорить немного и боязливо, какъ булто она вошла въ дремучій лісь, изъ котораго нътъ выхода (selva molto dubiosa). Бываеть, что въ тотъ же день ее ведуть въ мужній домъ; въ такомъ случав она можеть повсть чего-нибудь у себя въ комнатъ, чтобы на людяхъ показаться умъренной н т. п. Переходя затъмъ къ свадебнымъ обрядамъ, авторъ съ любовью останавливается на описаніи королевской свальбы, предоставляя всёмъ другимъ классамъ примъняться къ этой обрядности въ большей или меньшей степени. Намъ это описание тъмъ дорого. что оно позволяеть составить приблизительное понятіе о степени св'яжести, съ какой въ классахъ, сравнительно развитыхъ, сохранялись старые эпическіе обычаи.-Невъста прибыла, изъ близка ли, изъ далека ли, и отдыхаетъ передъ объдомъ; тутъ она

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ib. стр. 98.

знакомится съ дамами и другими домашними, и всёмъ кланяется скромненько, и тестю и тещё особливо. Она не словоохотлива, не спрашиваетъ сама, а если ее спросятъ, отвёчаетъ, и тогда говоритъ тихо, немного и робко. Но вотъ раздались звуки музыки, и поэтъ пускается въ описаніе пира, ожидающаго молодыхъ. За богатствомъ бытовыхъ красокъ, на которыя не поскупился художникъ, иногда трудно уловить очертанія картины. Попытаемся.

«Вотъ настаетъ время пира. Звенять трубы и всякіе инструменты, сладкія пъсни, а кругомъ что за веселье! Цвъты и зелень, ковры и шелковыя матеріи (zendali) стелются по землъ, по стънамъ парча (drappi di seta), украшенная бахромою и шитьемъ. Всюду золото и серебро, столы наставлены, постели подъ покрываломъ, комнаты убраны, кухни полны различныхъ яствъ, слуги готовы къ услугамъ, и между ними много дъвушекъ. На улицъ идетъ турниръ: по бокамъ крвикіе балконы, закрытыя лоджін, много рыцарей и храбраго люду, много дамъ и дъвушекъ великой красоты. — Старушки затворницы, обрекшія себя на служение Богу, должны быть угощены на дому.--Наконець, приносять вина и дессерть, фрукты разнаго рода. Птички поють въ клеткахъ и на крыше, прыгають олени, косули и лани; въ открытыхъ садахъ, откуда разносится аромать, гончія собаки бъгають взапуски; испанскія собачки нъжатся на рукахъ дамъ, по столамъ расхаживаютъ попугаи, летають соколы, кречеты, ястребы, коршуны; у дверей готовы осъдланныя лошади, всъ двери настежъ, а въ залахъ ученые сенешалы и другіе служители заботятся о порядкъ, сообразуясь съ качествомъ прибывшихъ гостей. Здёсь хлёбъ только крупичатый (di manna). И какое ясное стоитъ время! Новые красивые фонтаны быютъ по разнымъ мёстамъ».

Снова раздаются звуки трубъ, и женихъ является съ своими провожатыми; дамы приводятъ невъсту и сажаютъ ее за столъ. Разговоръ идетъ про любовь и веселье; одна невъста молчалива, говоритъ лишь но необходимости, не позволитъ себъ замъчанія служащимъ: она смущена, но такъ, что, кажется, одинъ только страхъ мъшаетъ ей быть веселой: Sola paura le vinca il diletto. Хорошо ей, прибавляетъ наивно авторъ, вымыть руки предварительно, чтобы передъ объдомъ, при общемъ омовеніи вода не оказалась слишкомъ грязной.

По окончаніи пира н'ікоторыя изъ дамъ отправляются къ себъ, другія расходятся по комнатамъ, и лишь немногія остаются при невъсть для ея охраненія (che a sua guardia stanno). Всѣкъ ней подходять и утфшають; говорять, что бояться ей нечего, что мужъ убхалъ, и она со всъми нъжно прощается и плачеть: Addio. addio!—Описаніе брачной комнаты и брачнаго ложа отличается эпическою изысканностью: на пологъ звъзды, солнце и мъсяць, по краямъ свътять четыре рубина, перина покрыта невиданной тканью изъ рыбьей шерсти (lana di pesce) и набита перьями отъ птицы феникса; по одъялу vзоры въ романскомъ стилъ: птицы, рыбы и всякie звъри, обрамленные виноградной лозой, вътви у ней изъ жемчуга, листья изъ чудодъйственныхъ камней, посреди всего вселенная изображена въ видъ круга: тамъ птички сидятъ въ окнахъ и поютъ; если захочешь-примолкнуть; туть же собаки служать тебъ,

если ихъ кликнешь. Все это обличаетъ фантастическія измышленія романской эпохи и не безынтересно для исторіи искусства. Пѣвчія птицы напоминають намъ подобную же черту въ извѣстной былипѣ о Дюкъ Степановичъ и Чурилъ Пленковичъ.

«Все это ваше», говорять ей мамки, «вы однъ будете почивать въ этой постелъ, а мы станемъ сторожить васъ здёсь обокъ». И онъ показывають ей на смежную комнату, а между тёмъ, какъ скоро молодая заснула, выходять потаеннымъ ходомъ и предають ее мужу (il tradimento dicono a costui). Его точно также одъли, умыли, причесали русыя кудри, онъ остался въ одномъ камзолъ, у дверей опочивальни его раздівають, и провожатые, равно какъ и мамки, остаются снаружи. Войдя въ комнату, онъ крестится; а тамъ свътло, свътять камни, свътится молодая (La sprendon grande, e la Donna, e le pietre): она, кажется, спить. Тогда по данному знаку птички начинаютъ пъть, сначала тихо, то одна, то другая, потомъ громче и громче. Молодая пробуждается со вздохомъ. Кто тамъ?-Я, тотъ, кого привела сюда твоя краса. -Она въ смущении, начинаетъ звать мамокъ. —Я прогналъ ихъ, отвъчаетъ молодой. —Она хотъла бы встать и одъться, но платье унесено. «Я прошель сюда сказать теб'в лишь н'всколько словь, говорить молодой, —выслушай меня, и я уйду». — Но въдь это низко! Возможна ли такая измъна со стороны человъка, столь учтиваго и разумнаго, къ женщинъ изъ чужой земли (Di strano paese)? И еще въ его же домъ? Я надъялась быть здъсь безопасной, а теперь вижу, что мнѣ умереть со страха.-Молодой, однако, добивается, чтобы его выслушали,

и ему позволяють объясниться подъ условіемь-быть краткимъ. «Юная красавица, —начинаеть онъ, —мудрое созданіе (saggia creatura), Богомъ сотворенная въ такой невиданной краст, что вст на тебя не надивятся! Откуда у тебя столь прекрасныя очи? Кто вложиль въ нихъ этоть взоръ, вызывающій любовь? Кто окружиль ихъ небесными ръсницами? Кто устроиль красивыя руки? Гдѣ взяла ты розовыя губки, и твои ли это нъжные пальчики? Кто начерталь эту бълую шею и стройный рядъ зубовъ? Откуда у тебя этотъ небесный голось? Скажи, ради Бога, потому что я пришель сюда лишь затъмъ, чтобы узнать это и, узнавши, оставить тебя въ поков». Начавшись на тему объ измѣнѣ, разговоръ продолжается далѣе въ томъ же иносказательномъ тонъ, иногда напоминая страстные порывы «Пъсни пъсней», болъе всего приближаясь къ средневъковымъ аллегоріямъ, гдъ любовь изображается то охотою, то турниромъ, иногда въ образахъ осады и замка, куда любовникъ ищетъ проникнуть подъ покровительствомъ dame Oyseuse и Bel-Accueil'я, но гдъ Jalousie и тому подобныя аллегорическія силы охраняють дівственную розу. Когда молодой изъявляеть желаніе «увидъть всю твою красу, чтобы онъ могь пересказать о ней подробно», онъ слышить такой отвъть: «Грудь моя нъжная, скромная; ея бълая кожа не знаеть пятень; на ней два сладкихъ душистыхъ яблока, они сорваны съ древа жизни, что стоитъ посреди рая . . . Вокругъ таліи меня опоясало Удовольствіе, Чистота и Ніжность; она простерла прозрачную, какъ кристаллъ, одежду, спускающуюся до кольнь. Тамъ обитаеть Девственность въ золотой, блестящей гирляндъ; она сильно страшится, когда слышить, что о ней говорять, но вы услышите: я стану говорить тихо, чтобы не испугать ее» и т. п. 1).

Этого золотого втнка дтвственности добивается молодой; какъ рыцари на турнирахъ являлись съ вуалью, либо рукавомь оть платья любимой дамы, такъ и онъ объщаеть носить его въ сраженіяхъ, какъ символь любви (Che portar per tuo amor voglio in battaglia). И дъйствительно, на слъдующій день молодой король является въ залу съ новымъ вѣнкомъ и въ коронъ поверхъ него. Намъ кажется, -и сравнительное изучение брачныхъ обрядовъ это подтверждаетъ, -что послъдняя черта имъетъ основаніе вполнъ реальное, бытовое. Нъть сомнънія, что и это описаніе свадьбы, и вся внутренняя постройка трактата Барберино исполнены въ чисто аллегорическомъ стилъ; Verginità. Piacere, Tenerezza напоминаютъ Roman de la Rose; но ясно чувствуется разница между аллегоріей измышленной и той, которая, касаясь реальныхъ сторонъ жизни, только вложена въ готовыя рамки обычнаго символизма. Торжественное одъвание и раздъвание молодыхъ, причитания невъсты-достаточно извъстны каждому, изучавшему эпическій обиходъ жизни любого народа; сюда же мы причисляемь и вънокъ дъвственности, соединившій въ себъ и corolla римскихъ невъсть и заповъдный cingulum, который разрѣшалъ новобрачный 2); эпическаго склада разговоровъ между молодымъ и моло-

<sup>1)</sup> Mansi, ib. parte V. стр. 112—113.

<sup>2)</sup> Festus, Corolla, Cingulum (y Κατγιπια: Zona); Varro: ¡ερόντι διὸασακὰ, Cπημ. Polydori Vergilii Urbinatis, De inventoribus rerum, cap. IV.
Α. ΒΕCΕΛΟΒΟΚΙΚ.

дою не въ состояніи скрыть оть насъ никакія реторическія прикрасы. Подъ всёмь этимъ кроются несомнённо бытовыя черты, какъ и въ тёхъ играхъ, которыя авторъ относить на третій день послѣ свадьбы, - на описаніи второго дня мы не останавливаемся, какъ для насъ не интересномъ. Мы говоримъ о такъ называемомъ giuoco d'amore. Это была одна изъ многихъ общественныхъ игръ, оставшихся въ модъ до поздняго времени, хотя ихъ коренной смыслъ давно затерялся. Первоначально онъ могли стоять въ связи съ майскими празднествами, какъ празднествами любви. Если это такъ, то мъсто giuoco d' amore среди брачныхъ обрядовъ объясняется само собою. Для полнаго разумѣнія слѣдуеть помнить, что между молодою и молодымъ существуетъ обвинение въ измѣнѣ, стало быть распря, которую слѣдуеть покончить миромъ.

«На третій день вмѣстѣ съ солнцемъ поднимается граціозное общество того и другого пола. Дамы приходять и ведуть королеву въ садъ, среди розъ и фіалокъ. Здѣсь собственными руками она начинаетъ плести гирлянду, въ подарокъ королю, и такъ говоритъ: «пойди къ набольшему въ домъ (al maggior dell'ostello) и ничего обо мнѣ не говори, коли дорога тебѣ жизнь, а скажи такъ: дама, которую вы взяли измѣной (che tradito avete), посылаетъ вамъ эту гирлянду». Дамы заговорили кругомъ: «Мадонна, скоро же вы съ нимъ помирились, и хороша та война, что такъ скоро вершается миромъ».

*Королева*. Стало быть, вы совътуете мнъ продлить войну? А я такъ думала ее покончить, отдавшись на милость тому, кто ее началъ.

Дамы. Мадонна, вы сами это рѣшили, не позвавши насъ къ совѣту.

И вев кругомъ смъются. - А посланная идетъ къ королю, кладетъ ему въ руку гирлянду и передаетъ порученіе; этоть сообщаеть его баронамь, а дівушка пока ждеть отвъта. Такія слова говорить король: «Пойди къ той, кто послалъ тебя; я не знаю, кто она, но думаю, что та, которая похитила самую дорогую для меня вещь. Если она пострадала отъ измѣны и говорить, что я въ томъ виновенъ, то не измѣна, а мщеніе заставило меня обратить на нее новыя стръды. И пока она не возвратить мив похищеннаго, я все буду усиливать удары; смерти ей бояться нечего».— Мадонна и дамы сидять среди цвътовъ: кто плететъ втнокъ, кто поеть, кто собираеть розы кому-нибудь въ подарокъ. Воть возвращается посланная, всё бёгуть къ ней навстръчу, смъясь, и ведуть ее передъ королеву. «Мадонна, -- говорить она, колфнопреклонясья умираю: ръчи короля поразили меня такъ сладко, что я не знаю, что и сказать». И она падаеть въ изнеможенін, побъжденная: ей въ лицо бросають розы. фіалки и другіе цвѣты, но ничто не помогаеть; кругомъ нея танцують, поють, зовуть ее по имени, щупають пульсъ, растирають руки. «Я хочу смерти», проговорила она, наконецъ, и болъе ни слова; тутъ ее покрывають цвътами и ставять кресты изъ любовныхъ лилій. - Другую дівушку шлеть королева туда же съ наказомъ-передать все какъ было, по порядку, и спросить отвъта. Она пришла передъ короля, но еще не успъла миновать первой двери, какъ отъ лица его королевскаго величества Амуръ метнулъ свою стрълу, которая угодила ей въ сердце; она заплакала.

Увидъвъ ее раненой, король посылаетъ двухъ кавалеровь-отвести ее въ садъ, разспросить обо всемъ. и что передала первая посланная. Они идуть, ведя подъ руки дѣвушку, которая падала; видятъ великую королеву, сидящую; отъ лица ея распространяется сіяніе, которое мгновенно поражаеть того и другого. Тутъ не помогли ни цвъты, ни что другое, они падаютъ мертвые, а королева смъется, думаетъ, что все это однъ шутки и насмъшки. Третью посланную она снаряжаеть, на этоть разъ старуху, которая случайно находилась на стражѣ при садѣ, она идетъ вооруженная и ничего не бонтся. Такъ наказываеть ей королева: «Разскажи обо всемъ, что ты видѣла, и спроси, какой отвёть даль король первой посланной; только ничего не говори, какъ я тебя наставляла». — Старуха прибыла ко двору; съ торжествомъ встръчають ее бароны. «Разсказывай, что новато», велить ей король.— Я затъмъ и пришла; слушайте всъ, пусть и король послушаеть великихь въстей. - «Слушайте, слушайте, слушайте», звенить труба.—Беритесь за оружіе, говорнтъ старуха, потому что Амуръ сталъ василискомъ для всякаго изъ васъ, кто только перейдетъ къ женщинамъ. Не сумъю сказать, гдъ туть опасность, только я видёла тамъ уже четырехъ убитыхъ. Я спаслась, потому что Амуръ меня не видълъ, ни я его, и это мое счастье: уже много времени тому, какъ я перестала его бояться. Такъ она сказала, и король и бароны всв поднялись, бъгуть въ садъ, а Амуръ туть какъ туть, стреляеть туда и сюда, нанося столько ударовъ и такіе жестокіе, что еслибъ не множество врачей, не многіе спаслись бы, —а иные убиты. Увидъвъ опасность однихъ, отчаянное положение ране-

ныхъ, король вмъстъ съ королевой думають удалиться, и вей слёдують за ними, кто съ произеннымъ серднемъ, кто съ вскрытой грудью, иные съ другими ранами и ушибами. Страхъ разбираетъ королеву: она хватается за платье короля, Амуръ ударяеть ее крыльями по рукамъ въ то время, какъ тотъ ее утъшаеть. Самъ король боится и кричить.—Вътеръ поднимается, разсъвая цвъты: тутъ не поможеть ни шлемъ, ни стальной шишакъ, щиты ломаются, всюду опасность; всё стремятся выйти, а дверь заперта, и служители Амура стоять у входа съ копьемъ въ рукахъ, и никому не даютъ пощады. Тогда общимъ голосомъ признають себя побѣжденными бароны и дамы, которыя тамъ были; всѣ они — плѣнники Амура, и король и королева, и всѣ толкують, на какихъ условіяхъ ему сдаться; наконецъ, признають его своимъ господиномъ. Увидъвъ себя на высотъ власти, Амуръ отважно повелъваетъ, чтобы король со своими и королева съ ея приближенными отдали ему честь и поклонение (reverenza et onore), и, какъ скоро это сдѣлано по общему согласію, вѣтеръ упалъ. Всѣхъ успоканваеть Амуръ, велить принести передъ себя раненыхъ и убитыхъ и говорить надъ ними такія слова: «Удары мон таковы, что кто думаль отъ нихъ умереть, обрътется къ вящей жизни. Встаньте же и не спите болъе вы, казавшіеся мертвыми, потому что я бодрствую; н раненымъ я приношу избавление отъ смерти». - Такъ говорить Амуръ, и мертвые воскресаютъ, раненые ободряются» 1).

<sup>1)</sup> Parte V, pp. 120-5.

На третьемъ днѣ по замужествѣ кончается поэтическій уголокъ въ жизни женщины, какъ представляеть ее Барберино.

Мы знаемъ, какого характера эта поэзія, и какъ тъ же самыя представленія обусловили всь другія, самыя прозапческія стороны жизни, которая идеть теперь для женшины одной сплошной трудовой полосою, никогла не выбивающеюся изъ эпической формулы. Такъ, рядомъ съ Giuoco d'Amore, авторъ предлагаеть молодой двънадцать разумныхъ предостереженій (cautele), которыя ей необходимо помнить въ первые дни послъ брака. Черезъ двъ недъли она уже вполнъ женщина, и ей дается новый рядъ совътовъ, извлеченныхъ изъ какого-то философа (lo filosofo), Экклезіаста, Эмиссена (?), изъ собственной книги автора—Documenti d'amore, и неизвъстной намъ Libro di Madonna Mogias d'Eggito, che s'appella Libro del ficca l'arme del cuore, цитуются провансальскіе поэты, и какая-то madonna Lisa di Londres; изъ Pier'a Vidal'я приводится правственный афоризмъ и въ подтверждение-его же новелла, изречение изъ трактата Meccepa Ramondo d'Angio: «Знаешь ли ты, какая женщина можетъ быть названа хорошею? Та, что прядетъ и думаетъ о веретенъ, что прядетъ ровно и безъ узловъ, та, что прядетъ, и веретено у ней не выпадаеть, что пряжу сматываеть ровно и знаеть, полно ли веретено или только до половины». Все это толкуется иносказательно, напримъръ, что та женщина хороша, которая всегда ровна, заботлива, не перемънчива, не развлекается пустяками и т. п.; а намъ напоминаетъ идеалъ дантовского Комчьягвиды и его женъ, сидяшихъ al fuso ed al pennecchio (Par. c. XV). - Мы видъли выше, что и нашъ авторъ при воспитаніи дѣвушки совѣтуеть ей заниматься рукодѣліемъ; теперь, не довольствуясь 12-ю предостереженіями и правилами философа, онъ непосредственно предлагаетъ еще 54 наставленія, которыми должна руководиться молодая жена. Первое, разумѣется, —любить и бояться Господа; но есть и другія, болѣе частнаго характера: если, напримѣръ, мужъ заказываетъ у портного платье, ей хорошо быть при этомъ, потому что она знаетъ вкусъ мужа, и что къ нему идетъ. Если онъ одѣнетъ обновку, хороша ли она или нѣтъ, надо ее похвалить и взглядомъ, и на словахъ; если ему моютъ голову, то и при подобныхъ житейскихъ мелочахъ ей слѣдуетъ присутствовать.

Наставленія обнимають самыя разнообразныя случайности жизни: какъ держать себя при посъщенін медика, какъ быть, если она замътитъ расположение мужа къ другой женщинъ, или если онъ бъетъ ее самое. Это, разумъется, не пристойно (assai sisconvegna). но если бы случилось, то лучшій способъ понудить его отстать отъ дурной привычки есть терпѣніе и молчаніе, смѣшанное съ боязнью—е sofferire tacer con temenza. Если эти выходки повторяются часто. потому что способъ и степень дъйствія бывають различны, смотря по людямъ, то надо совътоваться съ друзьями и сдълать такъ, чтобы причиною всего представилась она сама, или какой-либо ея проступокъ; а тамъ истина возьметь свое 1). Это тотъ же принципъ, который заставляетъ автора въ другомъ мъстъ присовътовать женъ смиренно переносить воло-

<sup>1)</sup> Ib. p. 145.

китство мужа, не потому, чтобы она его оправдывала, а потому, что такимъ образомъ онъ скорѣе можетъ исправиться <sup>1</sup>). Обычай наставлять жену илеткой былъ очень распространенъ въ средніе вѣка <sup>2</sup>), и если Франческо какъ будто и не одобряетъ его въ супружествѣ, то онъ самъ же и рекомендуетъ его для сварливыхъ женщинъ: «женщина гнѣвливая и легко выходящая изъ себя рѣдко играетъ почетную роль въ хозяйствѣ, иногда ей достается и палкой <sup>3</sup>); не худо бы приложить это средство и къ тѣмъ, что вѣрятъ обманчивымъ гаданьямъ: женщины, часто ходящія къ гадальщику и возвращающіяся домой обманутыми,—грѣшно на васъ пожалѣть палки!» <sup>4</sup>).

Мы можемъ оставить здѣсь наше изображеніе средневѣковой женщины по Барберино, потому что приведеннаго достаточно, чтобы судить о характерѣ цѣлаго. Изъ плотной сѣти обычныхъ формулъ, гдѣ все предусмотрѣно, разсчитано и отмѣчено печатью однообразія, не представлялось, повидимому, никакого выхода. А между тѣмъ чувство не могло на этомъ успоконться, порывы личной мысли проложить себѣ собственную стезю, которая вывела бы изъ темнаго лѣса традиціонной мудрости, должны были сказываться не разъ. Понятно, что то и другое стремленіе указывало на какіе-то внѣ-соціальные идеалы, выхо-

<sup>1)</sup> Ib. p. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) См. Dunlop-Liebrecht прим. 323 п Roquefort, Glossaire s. v. Resnable.

<sup>3)</sup> Parte XVI, p. 255.

<sup>4)</sup> Ib. стр. 256. Бить дѣтей также совѣтуется, parte XIII, p. 236: Battilo quando mangia. () terra, o pietre, o cenere, o carboni; если дитя ударится о камень, или птица клюнеть: Fa che quel batta in luogo di vendetta. Ib. p. 237.

дившіе изъ общества, которое продолжадо жить и думать по поэтической рутинт; понятно также, что при существующихъ условіяхъ эти стремленія оставались въ зародышт, не пройдя полу-пути, затертыя косностью окружающей среды. Мы уже знаемъ, какъ эпическая фраза овладѣла средневѣковой лирикой, сообщивъ ей однообразіе. Формализмъ церковнаго обихода и условной религіозности, быстро вошедшей въ ту же колею, подъ вліяніемъ преобладающаго строя мыслей, естественно, не могь удовлетворить върующихъ, --и вотъ человъкъ бросается въ бъгство, въ лъсъ, въ горы: вдали отъ общежитія плодятся монастыри, основываются центры новой жизни, порвавшей всякую связь со старою. Точно также неудовлетворение схоластикой выразилось бъгствомъ въ области самой чистой, самой личной мистики. Не прощло много времени, какъ всв эти порывы парализуются средою. становятся ея функціями, начинають выражать ея содержаніе, одіваться ея формализмомь: общество притягиваетъ монастырь, подвиги отшельничества отлились въ условную эпическую форму, даже мистицизмъ получаетъ очень опредъленную догматику, въ мистические восторги вносится порядокъ, и легенды этого періода напоминають сколки съ одного общаго типа. То же самое стремление къ выходу и то же паденіе посл'в неудачи зам'вчаемъ мы и на идеал'в женщины. Мы обыкновенно встръчаемъ улыбкой странный для насъ вопросъ, поднимавшійся, по словамъ Нострадамуса, на провансальскихъ courts d'amour: о возможности любви въ супружествъ. Между тъмъ, этотъ вопросъ характеристиченъ въ высшей степени, выражая наглядно, какъ мало удовлетворялось чувство суще-

ствующими условіями семьи и брака, гдф жена играла страдательную роль, гдв дврушка была только приготовленіемъ къ женъ, и не было мъста для любви самой по себъ, потому что и женщина сама по себъ не понималась внъ существующихъ общественныхъ положеній. И воть, какъ монастырь становился внъ общества, и мистицизмъ указывалъ на заоблачныя пространства, такъ трубадуры начинаютъ строить идеалъ женщины за предълами семьи и обычая. Искомая женщина не жена и не дъвушка, она непремънно жена другого, она окружена всеми теми преимуществами, которыя дёйствительность не представлялаи, наоборотъ, лишена ея стъсненій. Ей придана извъстнаго рода самостоятельность, которой она не имъла на дълъ; въ понятіяхъ феодальнаго въка таково было положение сюзерена, и она не только вольна располагать собою, но и къ своему любовнику относится, какъ къ вассалу, который добивается чести быть ея рыпаремъ; она не приноситъ болъ жертвъ, а сама требуеть жертвь и самоотверженія. Всв прелести любви и красоты переносятся на этотъ идеальный образъ, протестующій противъ действительности. По слѣдамъ этого протеста, совершающагося при участін посторонняго культурнаго преданія, на которое будеть указано особо, мы послёдовательно доходимь до болже отвлеченнаго пониманія любви, до туманныхъ аллегорій Арно Даніэля, котораго такъ высоко ставиль Данте, до платоническихъ грезъ Данте и Петрарки, разработывавшихъ далъе струю, впервые открытую трубадурами. Мы признаемъ особое значение этой страсти къ аллегоріи; это было первое усиліе мыслиотвлечь отъ фактовъ ихъ идеальное содержание и построить на немъ новый порядокъ вещей. Въ этомъ смыслъ мы и за аллегоріями Moralités признаемъ преимущество передъ эпическимъ пошибомъ средневъковыхъ мистерій, хотя здёсь разница принимаетъ поневолъ характеръ спеціально-литературный. Но время побълы еще не настало, и массовыя идеи въка пока олерживають верхъ. Вскорт аллегорін Арно Даніэля становятся общимъ мъстомъ, весенніе вздохи повторяются монотонно, и на тонкіе разговоры о любви ложится такой однообразный эпическій колорить, что новые изслъдователи, трудно переносящіеся на пережитыя точки зрвнія, поневоль могли принять за реальное распространение такъ называемыхъ courts d'amour, что въ большинствъ случаевъ было лишь неизбъжнымъ фактомъ эпическаго повторенія. Мы указываемъ здісь въ доказательство на XVIII и XIX части разобраннаго нами трактата Барберино: di certe contenzioni, Di mottetti di Donna a Cavaliere, Ancor di Donna ad altri quali sieno, -гдъ кавалеръ, между прочимъ, доказываеть, что женщина ниже мужчины и потому такъ названа: Е però fue detta Femina, perocche fe' men ch' alcun altro adimale, и дама защищается такой же курьезной этимологіей: e però detta é femena, perché la fe'mena, e fe guberna 1). Были и другія частныя причины, почему идеаль трубадуровь, задуманный столь широко, оказался столь неустойчивымъ и непроизводительнымъ: протестуя противъ крайностей существующихъ понятій, касаясь самыхъ насущныхъ требованій чувства и личной свободы.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Р. 294—5. Игра словъ непереводимая. Сл. Cortegiano, l. III, с. XCVIII.

онь поневоль самь вдавался въ страстную крайность, откуда не было болье выхода, и представлялась одна лишь возможность—безконечно вращаться въ одномъ и томъ же кругъ повтореній. Но главная причина неуспъха была та, что идеалъ трубадуровъ былъ сословный, рыцарскій, стало быть, въ высшей степени условный. Эта исключительность и отсутствіе естественной почвы дали ему захиръть преждевременно, и онъ скоро должень былъ уступить свое мъсто новымъ идеямъ.

Чтобы новыя иден могли приняться въ жизни, надо было удалить искусственный сословный принципъ и тотъ строй мысли, который неизбъжно является въ его сопровождении. Эту роль принимають на себя города. Они являются естественными посредниками между феодалами и вилланами; въ нихъ мирятся сословія, поступаясь своею исключительностью: рыцари начинаютъ понемногу строиться въ городахъ, хотя на ихъ постройкахъ еще долгое время сохраняется отпечатокъ феодальнаго замка; народу легче было сходиться съ горожанами, потому что здёсь сословная преграда менте чувствовалась, или ея не было вовсе. Такимъ образомъ, явилась въ жизнь безразличная объективная среда, на которой рыцарь и вилланъ, дама и горожанинъ мирно сходились къ общему признанію человъка. Широкое развитіе торговыхъ сношеній, которымъ города по преимуществу обязаны своимъ новымъ значеніемъ, расширило умственный горизонтъ и приводило съ собою массу реальнаго знанія: это помогло подрыть какъ сословную исключительность, такъ и религіозную; замкнутость среднев вковой мысли была окончательно нарушена. Въ странахъ, какъ Италія, н вообще на романскомъ югъ, гдъ преданія муницинія и римскаго соціальнаго устройства должны были сохраниться живже, все это являлось не столько переворотомъ или вторженіемъ новаго принципа въ исторію, сколько естественнымъ развитіемъ коренныхъ началь жизни, лишь временно затертыхъ случайными посторонними вліяніями. Все, что было сказано выше о положенін среднев ковой женщины, справедливо по отношенію къ Италіп лишь настолько, насколько и ее не пошалило вторжение германизма, и феодальный быть успъль закръпиться на ея окраинахъ, приводя съ собою свои понятія, свою нравственность и поэзію трубадуровъ. Что ни то, ни другое, ни третье не ограничивалось его кругомъ и переходило въ общее достояніе. тому, между прочимъ, могутъ служить доказательствомъ трактаты Барберино и сильный провансальскій элементь въ итальянской поэзін первыхъ вѣковъ. Но это вліяніе чуждое, ясно различаемое; рядомъ съ нимъ народная жизнь должна была развиваться на своеобразныхъ основахъ, завѣщанныхъ римскою древностью, подобно тому, какъ рядомъ съ поэтическою школой, восшитавшейся на провансальскихъ образцахъ, новъйшее изследование открыло несомненные слъды чисто народной поэтической школы. - Мы едва ли ошибемся, если среди этихъ основъ отведемъ не послъднее мъсто преданіямь римскаго городского устройства, которыя сберегались нетронутыя, хотя и забытыя отчасти до обновленія ихъ въ средніе вѣка. Мы, правда, немного знаемъ о нравственной физіономін итальянскаго среднев вковаго города, не знаемъ, въ какой мъръ развита въ немъ личность, какое мъсто занимала женщина; трудовъ, подобныхъ трудамъ Вейнгольда, Шерра и въ послъднее время Райта, въ

итальянской литературъ не существуеть, и мы не беремся пополнить этотъ недостатокъ. Но если въ XIII и XIV въкахъ и даже ранъе мы находимъ личность вполив развитою, женщину достаточно освобожденной отъ условій среднев вковаго гинекея. чему доказательствомъ новеллы, тогда какъ на германскомъ стверт то и другое едва начиналось, не въправт ли мы заключить, что тамъ дъйствовали иные принципы, о которыхъ здёсь не имёли понятія, до которыхъ сёверу предстояло доработаться тяжелой борьбой?-Помимо освобождающаго значенія городского начала вообще, на которое указано выше, были и другія своеобразныя условія итальянскаго развитія, ведшія къ той же цёли. Вёковая борьба между наиствомь и имперіей не была для Италін лишь борьбою двухъ принциповъ свътской и духовной власти, но — еще болъе того-вопросомъ, устоять ли народной самостоятельности передъ притязаніями всемірнаго императорства. Такимъ образомъ, здъсь впервые быль поднять голосъ во имя народности противъ сословно-феодальнаго уклада, увѣнчаннаго императорствомъ и грозившаго охватить всю Европу. Чёмъ далёе, тёмъ болёе крёпнеть это народное самосознаніе, доходя до павоса Italia mia Петрарки; нужды нѣтъ, что онъ проявляется у него реторически, обуваеть римскій котурнь, какъ и въ сновидъніяхъ Кола ди Ріенци, въ увъщаніяхъ Салутаги и позднъе въ ръчахъ Поркари: подъ звонкой фразой часто скрывается очень серьезное требованіе свободы. Съ протестомъ антисословнымъ, который отличаетъ выходъ изъ среднихъ въковъ, соединяется и протесть личности противъ эпическаго строя жизни, который неизмѣнно сдерживаеть всѣ ея проявленія.

На эту совмъстность мы успъли указать уже выше. Въ Италін это освобожденіе личности обусловилось самымъ характеромъ политической борьбы. Поставленные между наиствомъ и императорствомъ, изъ которыхъ каждое преслъдовало себялюбивыя цъли, не заботясь о народной политикъ городовъ, послъдніе ноневоль должны были итти то съ однимъ, то съ другимъ, смотря по тому, кто подавалъ имъ руку помощи и искаль на нихъ опереться. Отъ того понятіе гвельфовъ и гибеллиновъ не устойчивое; сегодня гвельфы, завтра гибеллины, сегодня съ паной противъ императора, завтра съ университетомъ и кодексомъ Юстиньяна противъ церкви и ея декреталій. Такая обоюдоострая роль, созданная обстоятельствами, необходимо подрывала въру во всъ наличныя, общественныя и нравственныя опредъленія. Когда критерій правды п добра могъ, такимъ образомъ, мѣняться со дня на день и, несмотря на то, давать законность всякому совершившемуся факту; когда этоть самый факть отвергался, лишь только обстоятельства побуждали обратиться къ другому источнику права, столь же освященному традиціей, - в ра въ ея непогръщимость исчезла, потому что созналась возможность выбора. Такъ между политикой папства и имперіи, принципами которыхъ оценивались до тёхъ поръ всё явленія соціальной жизни, созидалась втихомолку народная политика городовъ, пользовавшаяся той и другой для своихъ выгодъ и лавировавшая между ними, когда полезние было остеречься отъ дийствія; когда, говоря словами Данте,

> a te fia bello Averti fatto parte per te stesso. (Parad. XVII, 68—9).

Это-политика эгоизма, несомивнио вызванная стремленіемь къ освобожденію въ смыслѣ народности. если и допустить, что стремление ощущалось смутно, и немногіе избранные сознательно выставили его въ принципъ своей дъятельности. Критерій этой новой политики-разсчеть, вся цёль-въ успёхё, и вопросъ о средствахъ опредѣленъ тѣми неразборчивыми отношеніями къ папству и имперін, на которыя мы указывали выше. Однимъ словомъ, средства не разбираются въ виду освящающей ихъ цѣли; область позволеннаго въ этомъ отношении не отдълена отъ запретнаго. Вызванная необходимостью протеста, выработанная итальянскими городами, развитая тиранніей XIV-го и синьоріей XV—XVI-го в'яковъ, эта теорія возводится потомъ въ перлъ созданія Правителемъ (Il Principe) Макьявелли. Къ этой книгъ обыкновенно относились съ непониманіемъ; но изъ какого бы лагеря ни выходила оценка, блестящая характеристика невольно выдвигала ее на первый планъ, ее изолировали, передъ ней забывалось все окружение, задатки прошедшаго и зародыши будущаго. Къ ней относились слишкомъ лично, слишкомъ близко, Такъ, стоя передъ колонной античной работы, мы въ состояніи оцівнить ее лишь въ мелочахъ, въ тонкихъ линіяхъ ньедестала, въ ръзьбъ капители, и, лишь отойдя на извъстное разстояніе, поймемъ ея органическое мъсто въ строю колоннады. Только въ исторической перспективъ понимается значение культурнаго факта, и съ этой точки зрънія намь кажется, что книга Макьявелли едва ли оценена по достоинству.

Перевороть въ политическихъ теоріяхъ не могь не сказаться соотвѣтствующимъ развитіемъ личности.

Не даромъ характеристика и біографія занимають видное мъсто въ итальянской литературъ первыхъ въковъ: такимъ пониманіемъ индивидуальности можетъ, по мъткому замъчанію Буркгарта 1), обладать лишь тоть, кто уже вышель изъ опредъленія расы и развитія до сознанія своей дичности. Эгоизмъ новой политической теоріи должень быль выразиться именно такъ: человъкъ также сталъ эгоистичнъе, когда случайности исторической жизни разубъдили его въ состоятельности того эпически-обычнаго уклада, котораго крайнимъ выражениемъ были общественныя теоріи среднихъ въковъ. Онъ также сбросилъ съ себя опеку обычности, начинаеть самъ себъ служить опредъленіемъ, преслъдия свои собственные интересы, пользуясь людьми и обстоятельствами, или въ борьбъ съ ними; старые критеріи, нравственные и соціальные, отступають передъ такимъ сильнымъ заявленіемъ личнаго принципа дъйствія; они игнорируются, если еще не отрицаются вовсе. Туть всё матеріалы для образованія характера, а мы знаемъ, какіе сильные характеры произвела эпоха итальянскихъ тиранній, республикъ и кондоттьеровъ.

Лучшимъ выраженіемъ этого культурнаго переворота въ понятіяхъ итальянскаго общества служитъ литература новеллъ: мы разумѣемъ, по преимуществу, новеллы перваго періода итальянскаго Renaissance: Боккаччьо, Саккетти, Ser Giovanni и т. п. Первое, что мы въ нихъ замѣчаемъ,—это отсутствіе сословной типичности, производящее съ перваго взгляда впечат-

<sup>1)</sup> Die Cultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch von Iacob Burckhardt (Basel, 1860), стр., 328 1-го изд.

а. веселовскій.

льніе однообразія, которое съ художественной точки зрѣнія можеть не удовлетворить; мы, пожалуй, отдадимъ въ этомъ отношеніи преимущество мастерскимъ характеристикамъ клерка, рыцаря, пріорессы и т. д. Кентерберійскихъ разсказовъ. Но не надо забывать, что Чосеръ уже имълъ передъ собою итальянскихъ новеллистовъ, окончательно порфилившихъ съ исключительностью эпическихъ типовъ: что, придя послъ побъды, онъ легко могь отдаться ихъ воспроизведенію съ тъмъ спокойствіемъ, какимъ обыкновенно сопровождается сознаніе чего-нибудь пережитаго, и какое необходимо для всякаго художественнаго творчества. Для насъ, привыкшихъ смотръть съ исторической точки эрънія, самь однообразный стиль итальянской новеллы представляется прогрессомъ-въ смыслъ освобожденія челов'єка оть сословных в опред'єленій эпоса. Тысячи лицъ движутся передъ нами, въ пестрой толпъ проходять короли и плебен, крестьянки и высокородныя дамы, шуты и артисты, монахи и султаны-все это одни внёшнія отличія, которыя исчезають въ общемъ круговоротъ страстей, общечеловъческихъ разсчетовъ и побужденій, неудержимо стремящихся превратиться въ дёдо. Всё эти люди перебывали въ самыхъ разнообразныхъ положеніяхъ жизни и умъли выпутываться изъ нихъ умомъ и сметкой или погибали безвременно, когда не разсчитали силъ. Иногда, правда, какой-то странный фатализмъ судьбы, съ которой нельзя сосчитаться, прозвучить грустною нотой среди веселаго дня, а затъмъ суматоха и шумъ поднимаются пуще прежняго. Тутъ выше всего умълость; умънью найтись во всёхъ обстоятельствахъ отдана вся похвала; за то какой гомерическій сміхь возбуждаеть наивность

супруга или неумълое ханжество монаха! Пусть обманъ. лишь бы удачный, потому что идеаль удачи царить нало всвиъ: имъ однимъ, а не какими-нибудь нравственными соображеніями, изм'вряется радость и горе, см'вхъ и слезы. Женщина также вышла изъ заключенности семьи и свободно движется въ обществъ, испытывая тъ же превратности судьбы: дюбовная интрига смѣняется кровавой драмой, грязная щутка вызывать двусмысленный отвъть, и бездомное блуждание по свъту приводить порой къ тишинъ очага. И для нихъ поклоненіе обычаю замінилось культомь удачи. У вавилонскаго султана Беминедабъ-дочь неописанной красоты, по имени Алатіэль, просватанная за короля del Garbo. Ее снаряжають въ брачный путь, но у береговъ Майорки корабль разбить бурей, и Алатіэль, спасшаяся съ немногими женщинами, попадаеть въ руки какого-то Pericon'a da Visalgo, съ которымъ принуждена жить, пока брать Перикона, Marato, не влюбился въ нее въ свою очередь и не убилъ ея перваго обожателя. Та же исторія повторяется потомъ съ двумя братьями генуэзцами, потомъ съ морейскимъ принцемъ, аеинскимъ герцогомъ, Константиномъ-сыномъ константинопольскаго императора, и турецкимъ султаномъ Осбекомъ. Такъ, путемъ убійствъ и обмана, Алатіэль переходить оть одного любовника въ другому, благодаря своей губительной красоть, и только подъ конецъ случайнымъ образомъ попадаетъ къ своему жениху. Ловкая выдумка маскируеть все прошлое, и она, къ великому удивленію, оказывается такою же чистой и невинной, какою была прежде. И знаете ли, какое нравоучение выводить отсюда Боккаччьо? То, что уста отъ поцелуя не убывають, а вечно обновля-

ются, какъ обновляется луна: bocca basciata non perde ventura, anzi rinnova, come fa la luna. Какъ извъстно, это только анекдотическое приложение того общаго правила, какъ часто люди добиваются своего противъ ожиданія и несмотря на различныя препятствія, потому что на эту тему разсказываются всв новеллы второго дня Декамерона. Но мы не забудемъ по этому поводу и другого, житейскаго соображенія, которое постоянно вертится на языкъ Баккаччьо и новеллистовъ, что скрытый грѣхъ на половину прощенъ. Pecato celato—mezzo perdonato, говоритъ монахъ Декамерона, снаряжаясь вовсе не къ монашескому дълу, и то же самое повторяеть Созія въ романъ Энея Сильвія, когда, не успѣвъ помѣшать любви Лукреціи къ Эвріалу, которая, по его мивнію, могла компрометтировать его госпожу, онъ подъ конецъ самъ начинаетъ устраивать свиданія любовниковъ. «Я употребиль всв средства, которыя, по моему разсчету, должны были отвратить отъ недобраго дъла; такъ какъ все это ни къ чему не повело, мит остается только позаботиться, чтобы то, чему суждено сдёлаться, сдёлалось тайно; все одно-вовсе ли не дёлать или делать такъ, чтобы другіе о томъ не доведались». Это опять одна изъ многочисленныхъ варіадій на извъстную тему: достигать цъли, не остановливаясь на вопросъ, какими путями, и скрывать пути, чтобы върнъе добиться цъли.

Когда въ концѣ веселаго карнавала Декамерона мы встрѣчаемъ блѣдный образъ Гризельды, онъ поражаетъ насъ не какъ диссонансъ, а скорѣе какъ умно разсчитанный контрастъ, будто вечерній звонъ, доносящійся въ городъ изъ далекаго феодальнаго лѣса. Мы пони-

маемъ теперь, почему эта слезливая идеализація феодальнаго быта должна была въ особенности прійтись по сердцу Петраркѣ, тоже сентиментальному и поклоннику трубадуровъ. Онъ даже перевель ее по-латыни (De obedientia et fide uxoria Mythologia) и любилъ разсказывать въ кругу пріятелей; въ этомъ видѣ слышалъ ее Чосеръ, можетъ быть, отъ того падуанскаго клерика, на котораго онъ указываеть въ Canterbury tales—

I will you telle a tale, which that I Learned at Padowe of a worthy clerk, As proved by his wordes and his werk. He is now deed, and nayled in his chest, Now God give his soule wel good rest! Frances Petrark, the laureat poete, Highte this clerk, whos rethorique swete Enlumynd al Itail of poetrie 1).

Какъ бы то ни было, диссонансъ или контрастъ, онъ только ярче выставляетъ характеристическія особенности всей картины. Мы брались передать только ея общее впечатлѣніе: въ ней многое должно поразить насъ; нравственная распущенность, отсутствіе извъстнаго декорума, нераздъльнаго для насъ

<sup>1) «</sup>Я разскажу вамъ повъсть, слышанную мною въ Падуъ отъ одного достойнъйшаго клерка, извъстнаго и словомъ, и трудами. Его уже нътъ, и гробънадъ нимъ закрылся: Господъ да успокоитъ его душу! Звали его Франческо Петрарка: онъ былъ поэтъ вънчанный и сладостною ръчью наполнилъ всю Италію—поэзіей». Canterbury tales, ed. Wright, vv. 7902—7909. Сомнънія относительно пребыванія Чосера въ Италіи и его фактическаго знакомства съ современной ему итальянской литературой—теперь окончательно устранены, благодаря трудамъ Hertzberg'a, Körting'a и счастливой находкъ въ англійскихъ архивахъ, которую Hertzberg оповъстилъ въ Jahrb. f. rom. u. engl. Liter.

съ понятіемъ общежитія; наивность, за которой мы непремънно станемъ отыскивать заднюю мысль и которую назовемъ грубостью. Справедливы ли мы, прилагая такимъ образомъ наши нравственные принципы къ явленіямъ прошлой жизни, -- это другой вопросъ. Каждый въкъ имъеть право самосуда; только на почвъ выработанныхъ имъ самимъ представленій, юридическихъ и нравственныхъ, возможна его историческая оценка. Кроме того, каждый кодексь нравственности, если онъ не насильственъ, отвъчаетъ или не отвъчаетъ жизни; тутъ во всякомъ случать есть актъ сознательности, въ смыслъ признанія или отверженія. Въ первомъ случат онъ опредъляетъ степень вмъняемости каждаго дёйствія; во второмъ-кодексъ является упраздненнымъ, но самый фактъ упраздненія говорить, что совершился онъ въ силу новаго принципа, который вытёсниль старый и вступиль въ его права. Между этими двумя возможностями есть третья: прежнія нравственныя представленія утратили свою обязательную силу для общества, хотя и существують еще номинально, а между тъмъ никакія новыя начала не замънили ихъ въ сознаніи; нътъ ни признанія, ни отверженія; жизнь живется, руководясь ближайшими практическими цёлями, обходя широкіе вопросы права и вмѣняемости, а между тѣмъ въ этомъ обходъ. въ узко-практическомъ разръшени каждаго жизненнаго вопроса чувствуется молчаливый протесть противъ доживающаго нравственнаго критерія, и собираются незримые матеріалы для построенія новаго. Такъ и въ итальянскихъ новеллахъ первой поры, въ особенности у Боккаччьо, нътъ еще явнаго разрыва съ прошлымъ: оно такъ удобно для смъха и

для эстетической идеализаціи, но ніть и отыявленной критики; и въ то же время мораль, вытекающая изъ каждаго отдёльнаго разсказа, незамётно полтачиваеть существующія условія семейныя, религіозныя и другія, и только поздивишему времени предоставлено возвести къ одному общему принципу эти разрозненные протесты. Вст переходныя эпохи таковы: онъ нравственно безразличны, потому что онъ эпохи созданія, и творческимъ усиліямъ исторіи какъ будто мѣшають прочныя загородки и опредѣденія. освященныя давностью. При такой постановкъ вопроса обвинять Боккаччьо въ безиравственности такъ же немыслимо, какъ и Готтфрида Страсбургскаго въ его Тристанъ и Изольдъ, когда онъ такъ оканчиваетъ онисаніе Божьяго суда, который Изольда обошла обманомъ:

Då wart wol geoffenbaeret.
Und al der werlt bewaeret,
Das der vil tugenthafte Krist
Wintschaffen als eein ermel ist:
Er fueget unde suochet an,
Då man'z an in gesuochen kan,
Alsô gefuege und alse wol,
Als er von allem rehte sol.
Er'st allen hérzén bereit
Ze durnehte unt ze trügheit!
Ist ez ernest, ist ez spil.
Er ist ie swie sô man wil.

vv. 15.737—48 1).

<sup>1) «</sup>Туть объявилось и было доказано передъ цѣлымъ свѣтомъ, что добродѣтельный христіанинъ такой же вѣтряный, какъ отпашной рукавъ; испытайте его: онъ ладится и приноравливается ко всему такъ хорошо, какъ только можно желать; равно готовъ и на откровенность, и на обманъ, будеть ли это въ шутку или въ серьезномъ дѣлѣ, и всегда окажется такимъ, какимъ хотите».

Готтфридь быль, можеть быть, горожанинь, не рыцарскаго рода: это не только видно изъ его ироническаго отношенія къ блестящей внѣшности рыцарскаго быта, но такъ заключали и изъ названія Meister, которое онъ носить въ противоположность Walter'y von der Vogelweide, Wolfram'y von Eschenbach и др., которые постоянно называются Herr. Его мѣсто во всякомъ случаѣ между новеллистами, его протесть одинаковаго съ ними характера.

Своею репутаціей безнравственности Боккаччьо одолженъ впервые XVI въку, приведшему въ своемъ конечномъ развитіи къ господству литературнаго и общественнаго ханжества. Извъстно, какъ это случилось. Эманципація итальянской жизни и итальянской мысли, начавшаяся при столь блестящихъ условіяхъ, была остановлена, какъ скоро церковь и свътская власть догадались, что въ одиночку имъ не устоять противъ новыхъ требованій, которыя и могли проявиться сильно, лишь благодаря ихъ средневъковой разладицъ. И вотъ движение заторможено, все, обреченное на разрушение, возстановляется понемногу, іезуитизмъ старается влить новую жизнь въ обветшалыя формы религіозности, снова выставленъ на показъ нравственный кодексъ, въ который никто болъе не върить; даже сословное начало обновляется на ступеняхъ принципата, болъе искусственное и болъе цивилизованное по виду. Вся эта реставрація могла быть только внёшнею, какою и была на самомъ дълъ; жизнь продолжала итти своимъ чередомъ, по старому пути, но теперь ей приходилось ханжить, маскируясь въ законность и пряча концы отъ полицейскаго взгляда. Новеллисты XVI въка столь же грязны,

какъ и прежніе, но они уже безправственны сознательно и потому еще грязнъе; видно, что они плохо върять въ нравственныя сентенціи, которыя предлагають въ назиданіе, пересыпая ими разсказъ, но посреди самой соблазнительной исторіи никогла не забудуть оставить заднюю дверь открытой, чтобы было куда выйти. Такимъ людямъ наивность Боккаччьо должна была претить; его громкій хохоть надъ соблазнами духовенства и въ его время вызываль увъщанія Джіоаккино Чьяни, —а теперь перковь была всесильна; наконецъ, у него просто нелоставало декорацій, кулись, флера, который бы драпировалъ слишкомъ откровенную наготу. Въ новомъ обществъ онъ былъ неприличенъ, оттого его изгнали оттуда и запретили Декамеронъ, или, если позволили впоследствии, то оскопивъ его для безопасности. Въ римскомъ индексъ запрещенныхъ книгъ онъ красуется и до сихъ поръ, и въ библіотекъ della Minerva вамъ его не выдадуть.

Такъ, съ легкой руки іезуитскихъ пуристовъ, Боккаччьо прослылъ нечестивцемъ, безнравственнымъ; онъ—поэтъ сладострастія по преимуществу, ріttore della voluttà: это даже стало общимъ мѣстомъ при опредъленіи его литературнаго характера. Замѣчательно, что даже новые изслѣдователи приняли его въ наслѣдіе отъ старшихъ вмѣстѣ съ массой тому подобнаго хлама: потому ли, что, ограничиваясь внѣшностью явленія, они не дали себѣ труда распознать его внутреннюю суть, или, не потрудясь пересмотрѣть акты обвинительнаго процесса, они приняли на вѣру его рѣшеніе. Разумѣется, они далеки отъ прежнихъ предразсудковъ и, принимая вердиктъ, напередъ го-

товы оправдать обвиненнаго; для этого есть особая теорія, по которой что прежде считалось виною, толкуется если не заслугой, то внутренней необходимостью, жизненнымъ принципомъ дъятельности. Такъ Шопенгауэру Декамеронъ представляется гигантской шуткой Генія человъческаго рода, забавляющагося разрушеніемь всёхь общественныхь перегородокъ и приличій, которыя противятся соединенію двухъ любовниковъ и все-таки не въ силахъ остановить Генія въ его постоянныхъ усиліяхъ къ созданію новыхъ покольній 1). Въ томъ же родь попытка Монтэгю объяснить замыселъ Боккаччьо, предложенная нъсколько лѣтъ тому назадъ въ статьѣ Revue des deux Mondes. Декамеронъ дъйствительно сладострастенъ, порою неприличенъ, но въдь въ этомъ его жизненная сущность, его эстетическое значение. Это-безконечная Одиссея любви; міросозерцаніе Боккаччьо по преимуществу амурное: любовь представляется ему «не господствующею страстью человъческаго сердца, но и главнымъ двигателемъ общественной жизни и настоящимъ властелиномъ свъта. Она замънила фатумъ древнихъ и свободную волю христіанства. То, что мы называемъ игрою случая, если хорошо присмотръться, не что нное, какъ капризъ любви. Въ томъ, что мы обыкновенно называемъ свободными ръшеніями нашей воли, придется признать неодолимыя побужденія той же силы, удачно замаскированной. Въ ея рукахъ мы какъ глина въ рукахъ горшечника, какъ зерно на лопатъ въятеля. Ея благопріятныя и

<sup>1)</sup> Revue germanique, 1861, 31 Janvier: La métaphysique de l'a mour.

неблагопріятныя вліянія доходять до насъ рикошетомь, черезь длинную цёнь причинь и слёдствій. Иногда мы незнаемь, откуда стряслось намь неожиданное счастье, непредвидённое горе: это любовь подняла бури, отраженіе которыхь мы ощущаемь иногда на далекихь разстояніяхь. Весь Декамеронь не что иное, какъ доказательство этой общей мысли въ тысячё самыхь разнообразныхь примёровь 1).

Такая критика, по нашему мивнію, не имветь ничего общаго съ исторической: такимъ образомъ доказывали въ былое время, что Макьявелли радъль о свободѣ Италіи, доводя до абсурда ученія тираніи. и что Данте быль еретикъ и революціонеръ. При чемъ тутъ Боккаччьо? Зачъмъ не Банделло или Дони. или кто другой изъ новеллистовъ XVI-го въка? Въдь то же самое можно сказать и съ тъмъ же самымъ правомь о любомь сборник старофранцузских фабльо. въ родъ многотомныхъ собраній St. Palave, Barbazan et Méon, Jubinal'я и др., наконецъ, о всемъ современномъ романъ, котораго фабула ръдко обходится безъ любви. Такимъ образомъ, характеристика не достигаеть своей цёли, потому что минуеть человёка. Мы все еще не знаемъ Боккаччьо, его особенностей, почему онь не только глава итальянскихъ новеллистовъ, но и творецъ художественнаго разсказа, который, благодаря ему, дълается насущной формой итальянской литературы, выражая новыя потребности жизни. Боккаччьо первый сумёль формулировать эти новыя потребности; и здѣсь намъ остается необъясненной

<sup>1)</sup> Revue des deux Mondes, 1863 r. 1 Juin: La fiancée du roi de Garbe.

тайна его замысла и прелесть изложенія, его фраза всегда кадансированная и немного манерная, но на столько изящная, что она создала школу и теперь еще находить себъ подражателей. Какъ ни мало мы даемъ значенія слогу и какъ бы мало ни приписывали объективно-поэтического значенія Декамерону, въ такомъ человъкъ, какъ Боккаччьо, мы не можемъ отдълить изложение отъ содержания. Это понялъ Сеттембрини: и онъ не прочь провозгласить Боккаччьо поэтомъ сладострастія, но его тонкій эстетическій такть не даль ему остановиться на общемь мъстъ. Онъ начинаетъ разбирать его по мелочамъ. Обвинение въ реторичности даеть ему поводъ къ остроумной характеристикъ слога Декамерона, и, начавъ съ вопроса о формъ, онъ естественно приходить къ ея цълесообразности, гдъ вопросъ о содержании поставлялся самъ собою. Онъ, правда, этого не сдѣлалъ, и мы думаемъ помочь ему, пользуясь его же результатами.

«Боккаччьо реторичень, —пишеть Сеттембрини, —но эта реторика нравится; у него есть насильственныя перестановки, но зато въ періодѣ есть звучная струя, есть гармонія: слова то спанваются, то обрываются, то прыгають, то идуть плавно, будто сельская красавица, у которой талія вьется на походкѣ. Все это нравится мнѣ въ Декамеронѣ, а внѣ Декамерона —нѣтъ. Почему же нравится? Если я найду тому раціональное объясненіе, всѣ эти недостатки станутъ красотами. Боккаччьо —живописецъ сладострастья. Сладострастный ищеть вездѣ квинтъ-эссенцію наслажденія и находить ее тамъ, гдѣ и не думаешь: въ одеждахъ, бьющихъ въ глаза пестрыми красками, въ кушаньяхъ, въ ароматахъ, во всемъ; и когда онъ нашелъ

ее, онъ всасываеть ее въ себя понемногу, чтобы ея надолго хватило. Что для другого-ничто, для него драгопфино, онъ дорожить имъ и хотфль бы обиять его всёми чувствами; что драгопённо для другихъ, для него-ничто, онъ извлекаетъ изъ него ту долю наслажденія, какая въ немъ есть, и затъмъ бросаеть. Выражение сладострастія должно быть также сладострастно, красиво, безъ той наивности, которая, если уму представляется красотою, для чувства является грубой; оно должно быть блестящее, манерное, пріукрашенное и нарумяненное, какъ сладострастные люди. Такъ оно всегда было, таково, по необходимости, и теперь. Греческіе эротики, изображающіе чувственную любовь, манерны въ стилъ и языкъ. Amores Лукіана—самое изысканное изъ его произведеній; любовь Дафинса и Хлои описана Лонгомъ софистомъ съ большой аффектаціей, которую переводъ Каро только усилиль. Какихъ только кончетти и изысканностей нъть въ Ромео и Юлін Шекспира? Въ то время, какъ Галилей и Тассони пишутъ серьезно о вещахъ серьезныхъ, стиль изнъженнаго неаполитанца Марини весь изъ цвътковъ, антитезъ и игры словъ. Мнъ кажется, что украшенный слогъ-естественное выражение чувственности, точно такъже, какъ извъстная изысканность въ нарядахъ естественна въ публичныхъ женщинахъ. Потому и реторика, и искусственныя конструкціи Боккаччьо, его заботы о красивомъ сочетаніи словъ, законченность, какая замівчается въ самыхъ мелкихъ частяхъ его періода, -все это отвъчаеть его замыслу: выразить красоту сладострастія, которую онъ самъ ощущаеть и заставляеть ощущать читателя. Къ чему подражалъ онъ римля-

намъ, зачъмъ не провансальцамъ? Потому что сладострастіе-божество для язычниковъ, не для христіанъ, и у римлянъ описано привлекательно; потому что у провансальцевь встречаются примеры грубой страсти. не той утонченной, какая возможна лишь въ обществъ въ высшей степени образованномъ, но и въ высокой степени испорченномъ. Вы не стали бы удивляться, еслибъ куртизанка, оставивъ обычный костюмъ, вздумала изобразить изъ себя греческую или римскую даму; въ этой новой одеждѣ она легко можетъ показаться привлекательнее. Боккаччьо умель такь удивительно облечься въ эту римскую одежду, что часто гармонію его періодовь, нхъ чистый ритмъ, поражающій ухо, я предпочитаю всему, что въ этомъ смыслъ представляють латинскіе писатели, и допускаю къ сравненію только греческихъ. Итакъ, скажете вы, красота Декамерона есть красота публичной женщины? Да, но красота Аспазіи, которая разсуждаеть о мудрости, и Периклъ и Сократь внимають ей съ удивле ніемъ» 1).

Мы удерживаемъ это сравненіе. Итальянская женщина первой, хорошей поры возрожденія, дъйствительно, напоминаетъ пными сторонами греческую гетеру. Если она еще стоитъ на почвъ семьи, то развилась внъ ея и не для нея исключительно, хотя въ Италіи обстановка семейнаго быта могла и не быть столь стъснительна для развитія личности, какъ на съверъ. Она вполнъ индивидуальна и нравственно самостоятельна, и сознаетъ эту самостоятельность; она зани-

L. Settembrini, Lezioni di letteratura italiana, vol. 1, стр. 182—3. (Napoli, 1866).

мается поэзіей, ей доступна наука, она не прочь отъ отвлеченныхъ разговоровъ. Въ смыслъ развитія она не уступаетъ мужчинъ и сравнена съ нимъ въ умственномъ отношенін. Понятно, что при такихъ условіяхъ и сильномъ проявленіи личности въ итальянской семьъ не могь приняться тоть идеаль общенія душь, обоюднаго восполненія, предполагающій неравенство, или по крайности неодинаковую развитость, на которомъ стоить всякій сѣверный intérieur 1). Зарокъ супружеской върности, въ обиходномъ, физическомъ смыслъ этого слова, еще держится въ силъ страхомъ наказанія и скандала; за то ни одинъ мужъ не можеть претендовать на невърность сердца и отчуждение умственныхъ симпатій, не нашедшихъ удовлетворенія въ семьв. Молодая, красивая супруга старика отказывается принимать подарки и засылки отъ любовника, въ твердомъ намъренін сохранить свое честное имя (honestà): «но. несмотря на это, ей пріятна была любовь юноши по причинъ его хорошихъ качествъ, и ей казалось, что благородная женщина можеть любить достойнаго человъка безъ ущерба своей чести»<sup>2</sup>). Точно также въ послъдней новеллъ изданнаго мною старо-итальянскаго романа, относящагося къ послъднимъ годамъ XIV и началу XV въка, Бонифаціо Уберти любить мадонну Танчію Тальявія, которая ничьмъ его не ободряеть. Когда онъ случайно провинился передъ королемъ и можетъ быть осужденъ на смерть, она дълаетъ все, чтобы спасти его, и даже предла-

<sup>1)</sup> Burckhardt, ib. 392.

<sup>2)</sup> Giraldi, Hecatommiti III, nov. 2, у Burckhardt'a, стр. 440, который ссылается при этомь случав и на Cortegiano. LIV, fol. 180.

гаеть мужу быть за него ходатаемь. «Я не вижу въ томъ ничего предосудительнаго, когда такая честность, столь высокая добродътель и въжество могуть погибнуть злою смертью. Призываю въ свидътели высшую справедливость, что воть уже шесть лъть, какъ я его знаю, и онъ сильно меня любитъ и никогда не сказаль мив нечестного слова, не позволиль себв относительно меня хотя бы какого предосудительнаго поступка; и не то чтобы сдълать—я совершенно убъждена, что ему подобное и въ голову не приходило. И я возвращала ему плоды столь похвальной любви, любя его въ свою очередь, хотя мое честное имя не позволяло объявить ему о томъ... Теперь же, господинъ мой, я ръшилась показатьему, чъмъ могу и какъ знаю, что я его люблю» и т. д. 1). Очевидно, содержание любви стало интеллектуальнъе, разсудочнъе, она-не дъло одного чувства или темперамента, но еще болже задача для разсудка. Она начинаетъ анализироваться, и анализъ открываетъ въ ней такіе тайные закоулки, такіе нѣжные оттѣнки, иногда совершенно отводящіе оть реальности, о которыхъ до тъхъ поръ не имъли никакого понятія. Не даромъ романъ Воккаччьо, la Fiammetta, быль первымь опытомъ исихологическаго анализа страсти. Сумма наслажденій явилась больше, оттого самое чувство ценится выше: новое понятіе любви было цълымъ откровеніемъ, которое манило къ новому общественному пдеалу; понятно, что это всѣхъ интересуеть, что это становится question du jour, наполняя собою всъ разговоры, которыхъ но-

<sup>1)</sup> Il Paradiso degli Alberti, vol. III, pp. 204—5 (пзд. въ Scelta di curiosità letterarie. Bologna, Romagnoli № 88).

веллы служать отраженіемь, и Декамеронь повторяєть на всё лады все одну и ту же, безконечно разнообразную, тему любви, начиная оть figlia del rè del Garbo до Гризельды. Даже въ своеобразномь слогѣ Боккаччьо, который онъ впервые создаль, въ этой переполненной фразѣ, любящей избытокъ, мы открываемъ слѣды болѣе утонченнаго анализа мысли, вызваннаго новымъ, болѣе плодотворнымъ содержаніемъ жизни 1). Для насъ, такимъ образомъ, самый стиль становится культурнымъ фактомъ. Если все это объяснять изъ voluttá, то развѣ значительно измѣнивъ лексическое значеніе этого слова.

Наше изображеніе развитія личности и личнаго чувства любви въ новой Европѣ осталось бы, по необходимости, неполнымъ, если бы мы не обратили вниманія на другой, вившній моменть, назначеніе котораго мы уже успѣли указать въ началѣ нашего разсказа. Пройдя послѣдними, когда кругъ античной цивилизаціи уже завершился, средніе вѣка восприняли, насколько могли, ея конечные результаты, ея литературу и философскія ученія. Иногда эти ученія могли находиться въ соотвѣтствіи съ тѣми стремленіями, которыя вырабатывались внутреннимъ процессомъ самой жизни; въ такомъ случаѣ результаты выходили тѣмъ плодотворнѣе. Но большею частью гармонія не

<sup>1)</sup> Сл. о слог'в Боккаччьо: Emiliani Giudici, Storia della letteratura italiana, vol. 1, lez. VII, стр. 322 (Firenze, Le Monnier, 1855). Francesco De Sanctis: Il Decamerone, въ Nuova Antologia 1870 г., fasc. VIII, стр. 774—777. См. его же:Il Воссассіо е le sue opere minori, ib. fasc. VI. Об'в статьи вошли теперь въ Storia della letteratura italiana того же автора, первый томъ которой недавно вышель.

устанавливалась, общество было слишкомъ не приготовлено къ воспринятію въ плоть и кровь ученій, выработанныхъ болъе высокой цивилизаціей; оттого они воспринимались формально, ученія пересказывались сами по себъ, и точно также жизнь жилась порознь. Изучая средніе въка, необходимо принять въ расчеть этоть разладь, обнаруживающійся всякій разь, когда новая цивилизація развивается на развалинахъ старой: иначе мы легко можемъ подвергнуться опасности-заключить отъ построеній мысли, часто перенятой, не передуманной, къ формамъ и потребностямъ жизни. Въ этомъ разладъ было много опасностей, недоумънія и недовольства, но въ немъ же и точка отправленія прогресса: когда идеаль становился такъ высоко надъ житейскимъ уровнемъ внѣ ея сферы, онъ могъ быть непонятнымъ, но вмъстъ съ тъмъ, возбуждая дъятельность мысли, указываль путь стремленіямъ выйти изъ этой сферы къ чему-то лучшему. Положимъ, женщинъ плохо жилось въ средневъковой дъйствительности, но рыцарскій идеаль указываль на возможность другихъ отношеній, хотя самъ и строился на неосуществимыхъ посылкахъ. Въ этой возможности данъ толчокъ къ историческому движенію. Худо тамъ, гдъ содержание идеала вполнъ покрывается содержаніемъ жизни. Древнерусская женщина была рабою мужа, стояла подъ его опекой и страхомъ плетки; Домострой только упорядочиваеть это положение вещей, узаконяя оцеку, смягчая удары плетки, предлагая палліативныя міры и никакого новаго принципа, который могь бы повести къ коренному измѣненію существующаго. Оттого здъсь было менъе движенія и менъе развитія.

Выше, характеризуя рыцарскій идеаль трубадуровь, мы увидёли въ немъ протесть чувства противъ стъснительной формулы эпическаго быта, протестъ сословный, потому неживучій и вскор в затертый господствующими условіями общества, которое шло съ нимъ въ разладъ. Мы подозръваемъ тенерь еще другія причины этого разлада. Изслъдованія Форіэля 1) достаточно разъяснили тотъ фактъ, что расцвътъ провансальской литературы находится въ ближайщей связи съ остатками римской образованности. которыми насыщена была почва южной Галлін; и. наобороть, въ томъ, что разсказывается о нравахъ галльскихъ вождей и вообще южныхъ галло-римлянъ въ послѣднюю эпоху имперіи, онъ не прочь открыть замічательную аналогію съ основными чертами рыцарскаго типа <sup>2</sup>). Даже оставаясь въ сторонъ отъ этихъ увлеченій спеціалиста, нельзя не признать на почет южной Галлін присутствія двухъ элементовъ: варварскаго, привнесеннаго германскимъ вторженіемъ и въ извѣстной степени опредълившаго содержание жизни, и античнаго, который сохранялся въ намятникахъ литературы и искусства, передаваясь по преданію въ кружкі лучшихъ людей. Такимъ образомъ, здѣсь самъ собою установился антагонизмъ теоріи и практики, идеальныхъ построеній мысли и грустной дъйствительности, не успъвшей доработаться до ея пониженія. Съ фактическимъ положеніемъ женщины въ средніе въка мы уже знакомы и понимаемъ теперь, изъ какого источника

1) Hist. de la littér. provençale, v. 1, ch. 3 п 4.

<sup>2)</sup> Ib. I, стр. 58 п его же Hist. de la Gaule méridionale. I. стр. 197, 230 п слъд.

выходили отвлеченныя понятія о любви, которымъ нельзя отказать въ оттънкъ платонизма. «Человъкъ,говорить Рэнбо де-Вакейрась, -- легко можеть, коли захочеть, сдёлаться счастливымь и достойнымь уваженія даже безъ любви: ему стоитъ только остерегаться низкихъ поступковъ, изъ всёхъ силъ стараясь сдёлать добро. Такимъ образомъ, хотя мнѣ и не достаетъ любви, я все же стараюсь поступать согласно съ добродътелью. Пусть я потеряль мою даму и любовь, —я не хочу изъза того терять чести и достоинства, я желаю жить согласно съ ними, даже безъ дамы и любви. Изъ одного зла я не сдълаю двухъ.-Между тъмъ, отказываясь ръшительно отъ любви, я хорошо знаю, что отказываюсь отъ высшаго блага. Любовь улучшаеть лучшихь, даетъ цънность даже дурнымъ. Изъ труса она можеть сдёлать храбраго, изъ храбраго человёка-нёжнаго н привътливаго; часто бъднякъ проходить ею къ власти. Если такова сила любви, и я не прочь полюбить; стремясь къ чести и добродътели, и я бы не прочь полюбить, если бы меня полюбили».

Въ XIII и XIV вѣкахъ платоническая теорія любви становится открытою модой въ литературѣ южной Европы: она вдохновляетъ лирику Данте, Кавальканти, Петрарки. Но и самое общество сдѣлало шагъ впередъ къ сближенію съ ученіемъ, которое до тѣхъ поръ передавалось, какъ ученая эксотерическая традиція: города приготовили освобожденіе женщины, новелла начинаетъ ставить вопросъ о значеніи индивидуальной привязанности. На этой высотѣ конечные результаты органическаго развитія могли не только встрѣтиться, но и проникнуться теоріей платонической любви: два момента, разнообразно опредѣлявшіе дви-

женіе среднев тковой жизни-народной-органической и антично-литературной, въ первый разъ встрътились и признали друга другь сознательно. Отсюда тоть богатый расцвъть литературы и искусства, который итальянцы назвали своимъ золотымъ вѣкомъ. Въ концѣ XIV въка эротическія теорін романа, о которомъ упомянуто выше, заявляють себя положительно, какъ платоническія: плотское ощущеніе одухотворилось до самыхъ отвлеченныхъ привязанностей, возводясь подъ конепъ къ какому-то общему началу, которымъ все зижлется въ міръ. Автора поучаеть его геній: любовь есть страсть, зарождающаяся въ душт при посредствт чувствъ, подъ впечатлъніемъ объекта, который ее вызываеть. Эту любовь Создатель, по своей благости, дароваль человъческой природъ преимущественно передъ всѣми другими, какія только соединяють матерію съ субстанціальной формой, почему въ природ' челов'ческаго духа-быстро ощущать любовь. По этому поводу приводятся Дантовскіе стихи (Div. Com. Purg. С. XVIII. vv. 19-21); и они имъютъ для Генія вершающую силу: Геній, очевидно, Флорентіецъ, у него Ланте—нашъ божественный Данте (il nostro Dante divino), нашъ чудный поэть (il nostro miracoloso poeta): Божественная комедія—священна (sacro poema, sacri versetti). -- Если такова сущность и основаніе любви, то разность ея проявленія определяется выборомъ объекта, который заслуживаетъ похвалы или порицанія, смотря по тому, разумъ ли управляетъ страстью и похотью (la potenza irascibile colla concupiscibile), или царица-разумъ (la Reina e madonna ragione) находится въ рабствъ у своихъ прислужницъ. Это, очевидно, психологическая теорія Платона:

τὸ λογιστικόν - razione, τὸ ἐπιθυμητικόν-potenza concupiscibile, τὸ θυμοειδές καὶ ὀργιστικὸν - potenza irascibile. Правая и лѣвая сторона аллегорическаго амфитеатра, представляющагося автору на островъ Книръ, изображають въ своихъ фрескахъ эту двоякую возможность; съ одной стороны святая дружба, любовь къ родителямъ, къ отечеству и вообще къ ближнему, съ другой—непостоянныя, презрыныя страсти. Ныть сомнънія, что въ томъ и другомъ случав человъкомъ руководить одна жажда счастія; но нечистая похоть сердца такъ искажаеть разсудокъ людей, что часто тьма кажется имъ свътомъ, и они дълаются несчастными вслъдствіе своего невъжества. Оттуда жестокія войны, опустошение городовъ и областей, убійство и вражда, семейная и родственная. Въ виду этихъ примъровъ, что остается дълать, какъ не возвести духъ нашъ къ святымъ добродътелямъ, посвятивъ имъ удъленную намъ часть короткой жизни?-Переходя отъ Данте къ толкованію старыхъ эротическихъ миновъ, авторъ и въ нихъ умфетъ отделить любовь плотскую, земную, отъ идеальной и небесной. Языческие богословы (li antichi teologi de'gentili) называли Амура сыпомъ Эреба и Ночи. Подъ Эребомъ надо понимать земной шаръ, атомъ среди безконечнаго пространства неба; иначе онъ зовется адомъ, какъ всего далъе отстоящій отъ периферін перваго двигателя (circunferenza del mobile primo). А такъ какъ любовь, какъ мы обыкновенно ее понимаемъ въ нашемъ невъжествъ, имъетъ своимъ главнымъ поприщемъ землю, и всъ большею частью въ этомъ смыслѣ ее понимали и о ней говорили, то почтенная древность очень удачно назвала Амура сыномь Эреба. И какая, въ самомъ дълъ, первая любовь

смертныхъ, какъ не чувственная? Это мы ясно видимъ въ дътствъ и молодости, гдъ она исключительно направлена къ удовлетворенію чувствъ и наслажденію плоти. Въ этомъ смыслѣ понятно, почему Амуръ названъ сыномъ матери Ночи: ночная тѣнь-это мракъ нашего невъжества, въ которомъ развивается эта низшая фаза любви. «Такъ ясно и отчетливо раскрывается намъ тайный смыслъ древнихъ поэтовъ». Имъ же принадлежить другой граціозный философскій вымысель (leggiadrissima e matematica fizione), по которому Амуръ рожденъ отъ Юпитера и Венеры; по здъсь символь облекаеть болье идеальное содержание, любовь въ болье культурномь смысль этого слова. Подъ благодатнымъ вліяніемъ планетъ, посвященныхъ этимъ двумъ божествамъ, въ людяхъ развивается вкусъ къ удовольствіямь, къ изящнымь наслажденіямь, къ царственному блеску, потому что все это, безъ сомнѣнія, связано другь съ другомъ. Кто въ самомъ дѣлѣ не знаеть, что при хорошемъ правленіи не только въ государствъ, но и въ частномъ быту, умножается въ людяхъ веселье, а стало быть и слава, миръ и любовь? Отсюда и поэтическая генеалогія Амура.—Геній еще разъ возвращается къ тому же предмету, съ теоріей троякой любви «божественнаго и чуднаго Платона и его ученика, маэстро Аристотеля». Это только усложняеть дъленіе, не мъняя его смысла. Платонъ говорить, что любовь бываеть трехъ родовъ: первую онъ прямо называеть божественной, вторую неразумною страстью, насколько духъ въ ней отдается порочному наслажденію: третья стоить на серединъ между той и другой и изъ объихъ смъщана. Такому ученію не измъниль и маэстро Аристотель, когда въ своей этикъ (fralle sue Morali) онь отличаеть любовь высокую (onesto) оть пріятной (dilettevole) и полезной (utile). Этимъ дѣленіемъ исчерпываются всѣ возможности любви. О, какъ славенъ и счастливъ тотъ, кто ищетъ божественной любви Платона, или высокой (onesto), какъ названа она у Аристотеля! Ее-то избирали всегда люди добродѣтельные, добрые и совершенные. Любви пріятной ищетъ обыкновенно духъ испорченный или находящійся на дурномъ пути, оттого ей подвержены юноши и люди неразвитые. Наконецъ, третій родъ, который можетъ быть названъ смѣшаннымъ и касается пользы, приличенъ зрѣлому возрасту и составляетъ предметъ его желаній 1).

Мы не останавливаемся на теоріи любви Лоренцо Медичи, какъ не представляющей характеристическаго шага въ развитіи, и перейдемъ прямо къ XVI въку: на изящныхъ бесъдахъ въ урбинскомъ замкъ, изъ которыхъ Кастильоне извлекъ свои правила придворнаго общежитія 2), мы снова встръчаемъ то же самое ученіе любви, отръшенной отъ всякой чувственности. Общество собирается въ покояхъ герцогини Элизабетты Гонзага; вокругъ нея и синьоры Эммы Піи ведуть оживленный разговоръ Оттавьяно и Федерико Фрегозо, Морелло, старый придворный, молодящійся и киникъ; Пьетро Бембо и Бернардо Виббьена; Юльянъ деи Медичи, іl Мадпібісо, главный защитникъ женщинъ; Гаспаръ Паллавичино и Николо Фризіо.

<sup>1)</sup> Il Paradiso degli Alberti, vol. II; стр. 58—65.

<sup>2)</sup> Il Cortegiano, ed. Baudi di Vesme, Firenze, Le Monnier, 1854. I v. —Il Cortegiano написанъ въ 1514 г., бесёды въ Урбино относятся къ 1506 г.

его неизмѣнные противники. На четвертый день мессеръ Пьетро Бембо долженъ разрѣшить вопросъ: что такое любовь, сhe cosa è amore? Онъ такъ поэтически воспѣлъ ее въ третьей книгѣ своихъ Asolani, что Кастильоне не могъ никому лучше поручить ожидаемаго отвѣта. Любовь, отвѣчаетъ Бембо, по ученію древнихъ мудрецовъ, не что иное какъ, вожделѣніе красоты (un certo desiderio di finir la bellezza) 1); опредѣленіе красоты относится ко всѣмъ тѣмъ предметамъ естественнаго или имущественнаго порядка, въ которыхъ соблюдена пропорціональность и соотвѣтственная ихъ природѣ мѣра 2). Мы еще на точкѣ зрѣнія трубадуровъ и Франческо да Барберино, для котораго красота есть гармонически-изящная форма.

#### E una conforme sprendida statura 3).

Но такимъ опредѣленіемъ красоты мы не можемъ удовлетвориться, оно слишкомъ близко къ землѣ, мы тотчасъ же переходимъ къ болѣе возвышенному критерію: красота есть изліяніе божественной благости, которая хотя и распространена во всемъ твореніи, какъ солнечный свѣтъ, но останавливается преимущественно на правильномъ человѣческомъ лицѣ, на гармоніи его красокъ, тѣней и линій: его она освѣщаетъ граціей и чуднымъ блескомъ, будто солнечный лучъ, ударяю-

<sup>1)</sup> Il Cortegiano. l. IV, с. LI. Сличи Лоренцо деи Медичи: la vera diffinizione dell'amore.... non esser altro che appetito di bellezza (Poesie, ed. Carducci: si difende da chi lo accusasse d'avere scritto d'amore, стр. 4).

<sup>2)</sup> Cortegiano, ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Del Reggim. parte XIII, стр. 225.

щій въ золотую вазу, украшенную драгоцінными камнями 1). Понятно, что любовь, возбужденная такой красотой, чище и святье (il vero amor di quella è buonissimo e santissimo), оттого она приносить хорошіе плоды въ душ' тіхъ, кто уздою разума обуздываеть неистовство чувствъ 2). Сама красота есть вещь священная: она-периферія, которой центръ-благо (la bontà), и какъ не бываетъ круга безъ центра, такъ нътъ красоты безъ блага; порочная душа ръдко обитаеть въ прекрасномъ тѣлѣ, красивая внѣшностьнастоящій признакъ внутренней добродьтели 3), какъ, наобороть, некрасивые люди большею частью бывають недобрые 4). Такимъ образомъ мы приходимъ отчасти къ отождествленію добраго и прекраснаго, въ особенности въ тълъ человъка, къ красотъ котораго ближе всего красота души, которая, какъ сопричастница небесной, просвътляеть и украшаеть все, чего она касается, особенно если тъло, ею обитаемое, не изъ такого низкаго матеріала, чтобы оно не могло воспринять ея отпечатокъ. Оттого красота есть настоящій трофей побъды души, покорившей своей божественной силой вещественную природу и своимъ свътомъ просвътлившей тѣлесный мракъ <sup>5</sup>). Вмѣстѣ съ тѣмъ мы значительно возвысились въ пониманіи любви; человъкъ, не желающій любить съ толпою 6), долженъ въ люби-

<sup>1)</sup> Corteg. l. IV. c. LII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ib. c. LIII.

<sup>3)</sup> Ib. c. LVII.

<sup>4)</sup> Ib. c. LVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ib. c. LIX.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) C. LXI: «amor fuor della consuetudine del profano volgo»; C. LXII: «fuggir ogni bruttezza dell'amor volgare».

мой женщинъ цънить не одну тълесную красоту, но и душевную; онъ долженъ знать, что тёло, которое просвътляеть эта красота, не есть ея источникъ, что она, напротивъ, безтълесна, божественный лучъ, поступающійся частью своего свъта въ соединеніи съ презрѣнной плотью; что она, стало быть, тѣмъ совершеннъе, чъмъ свободнъе отъ тъла, и всего совершеннъе въ отдъльности отъ него. Какъ нельзя слушать органомъ вкуса, ин обонять слухомъ, такъ и вожделъніе, возбуждаемое въ душъ красотою, не удовлетворяется осязаніемъ, но только тіми чувствами, въ которыхъ всего менъе плотскаго элемента, т.-е. зръніемъ и слухомъ. Культъ душевной красоты предполагаеть въ любовникъ еще особыя условія: онъ должень воспитывать духовно любимую женщину, беречь ее отъ ошибокъ, совътами и напоминаніями направлять ее къ скромности, умъренности, честности, такъ чтобы въ ней и мѣсто было лишь чистымъ побужденіямь, исключающимь всякія порочныя наклонности. Такъ, насаждая добродътель въ вертоградъ прекрасной души, онъ пожнеть плоды прекрасныхъ нравовъ и получить нежданное паслаждение. Это наслаждение и выражение красоты въ красотъ иные и называють настоящею цълью любви: «e questo sarà il vero generare ed esprimere la bellezza nella bellezza, il che da alcuni si dice essere il fin d'amore» 1). Въ этой раціональной любви (razionale), противополагаемой чувственной, даже подълуй получаеть философское, безтълесное значение <sup>2</sup>). Но во всемъ этомъ еще много личнаго эле-

<sup>1)</sup> Ib. c. LXII.

<sup>2)</sup> Ib. c. LXIV.

мента, который слёдуеть побёдить, чтобы дуща могла быть вполнъ безопасна отъ искушеній плоти. И воть мы еще выше поднимаемся по скалъ все того же чувства: мысль должна совершенно отвернуться оть тёла къ представлению красоты самой по себъ, чистой, отвлеченной отъ всякой матерін 1); восходя еще выше, она переступить за предълы личности, и, собирая черты всёхъ возможныхъ красотъ, придеть къ идеъ красоты вообще, разлитой въ природъ; передъ нею ничто-прелести одной женщины; ослъпленный высшимъ свътомъ, человъкъ перестаетъ заботиться о меньшемъ и не знаеть цёны тому, что прежде ставиль высоко. Но и это опять лишь приготовление къ дальнъйшему полету: тъ, которые достигли этой степени любви, еще нѣжные птенцы, начинающіе одѣваться пухомъ и пытающіе крылья, хотя и не сміноть далеко отлетать отъ гнъзда 2). Еще усиліе, и мы проникли въ тайны bellezza angelica, bellezza divina, красоты нераздѣльной отъ высшаго блага, которая всему подаеть свъть, разсудокъ-существамъ интеллектуальнымъ, разумъ-раціональнымъ, чувство и желаніе жизничувственнымъ, растеніямъ и камнямъ сообщаетъ движеніе и качества, свойственныя ихъ природь. На всемъ ея печать 3). Мы достигли высшихъ предъловъ гармонін: одна и та же музыкальная тема разрабатывалась передъ нами фугой, безконечно разнообразная, становясь все поэтичнъе и духовнъе, по мъръ того, какъ она возвышалась въ лъстницъ звуковъ, разръшаясь

<sup>1)</sup> Ib. c. LXVI.

<sup>2)</sup> Ib. c. LXVII.

<sup>3)</sup> Cc. LXVIII—IX.

гдъ-то на высотъ примиряющимъ аккордомъ. Такъ разръщается увертюра Лоэнгрина. Дальше итти некуда: остается поэтическій гимнъ любви (Qual sarà adunque, о Amor santissimo, lingua mortal, che degnamente laudar ti possa 1), видънія Платона и Сократа, стигматы св. Франциска и небеса, разверзающіяся на молитву св. Стефана 2).

Никто не откажеть этимъ ученіямъ въ павосъ чувства, хотя этотъ павосъ и отзывается манерностью; самое ученіе многимъ покажется чище и возвышеннѣе наивныхъ созерцаній романиста XIV вѣка, въ которыхъ теорія отвлеченной любви только намѣчена, и мы не прочь изъ прогресса теоріи заключить объ общественномъ и нравственномъ прогрессѣ. Но мы заключили бы ошибочно. Недавняя гармонія философской теоріи и усилій жизни снова нарушена: рядомъ съ ученіемъ самой возвышенной этики мы наблюдаемъ положительное разложеніе всѣхъ жизненныхъ формъ. Новелла XVI-го вѣка открыто цинична; нравственность, которую намъ проповѣдуютъ, сдѣлалась, если можно, еще чище, семейныя требованія строже, женщина заключеннѣе водъх заключеннѣе.

<sup>1)</sup> Ib. c. LXX.

<sup>2)</sup> Ib. c. LXII.

<sup>3)</sup> Между тъмъ какъ въ XIV-мъ въкъ женщина свободно вращается въ обществъ, принимая живое участіе въ его увеселеніяхъ, пляскахъ и разговорахъ, въ XVI-мъ столътін французскій мака-роническій поэтъ Антоній Арена дълаетъ такое сравненіе между нравами Франціи и Прованса съ одной стороны, и Испаніи и Италіи—съ съ другой: «in omnibus partibus Franciae et Provenciae homines dansant publice in domibus et in plateis et per carrarias, simul cum mulieribus, tenendo eas per manum. Sed in Hispania et Italia, ubi sunt homines multam gilosi, sive zylotepi, homines nunquam aut rarissime dansant

между тымь разврать вы итальянскомы обществы XVI-го въка далеко вышель за границу того историческаго протеста, который въ нашихъ глазахъ даетъ распущенности старой новеллы идеальное значение. Эта распущенность наивна, она вызвана была настоятельной потребностью обновить соціальныя семейныя начала и открыта вліянію той античной доктрины, которую мы условились называть платонической. Но теперь это уложение готово, и возможно его дальнъйшее развитие исключительно на почвъ системы; развитіе, доходящее до крайнихъ предъловъ идеализаціи, безъ всякой связи съ требованіями жизни, которая повернула на новые исторические пути. Оттого, относительно ея, правственные идеалы, въ которые нграють теперь литературные кружки, являются условными, искусственными, необязательными; они снова повернули на формализмъ, только это не формализмъ эпическаго обычая, а этикета и реторики, и какъ онъ-сословный. Движение старой новеллы было направлено противъ среднихъ въковъ, являлось протестомъ противъ эпическаго застоя мысли во имя ея свободы, противъ сословнаго уклада во имя народности; на мъсто рыцаря оно поставило человъка и указало на идеалъ гражданина.—Усиленіе принципата, который въ XVI-мъ въкъ окончательно организуется въ Италіи, снова привело съ собою искусственное развитие сословнаго начала: вокругъ principe собирается дворъ, около двора-оптиматы; все это над-

cum mulieribus, sed homines soli cum hominibus dansant, imo, quod est pejus, pupillae nobiles et de estoffa, quae non sunt maritatae, quasi nunquam exeunt extra domum».

страивается надъ городами, которые теряють свое значеніе, и народомъ, который его не пріобрълъ. Человъка, гражданина-нъть; вмъсто него намъ указывають на придворнаго (Cortegiano) и придворную даму (Donna di palazzo): къ этимъ образцамъ совершенства слъдуеть стремиться, какъ во времена Франческо да Барберино всякое высшее сословіе было указкой для низшаго. Главное, отличительное качество Cortegiano есть грація 1); говорить ей нельзя научиться 2), но опа состоить главнымь образомь вь избъжаніи аффектаціи, въ томъ, что техническимъ придворнымъ словомъ называется sprezzata disinvoltura (непринужденная развязность 3). А между тъмъ всъ его поступки внушены аффектаціей, и условности этикета освящають ложь; ложь иногда даже рекомендуется, какъ прикраса (ornamento), когда, напр., человъкъ, искусный въ какомъ нибудь упражненій, никому того не показываеть, чтобы при случать поразить нежданной ловкостью и т. п. 4).—Тоть же принципь руководить Cortegiano, когда съ одной стороны онъ долженъ показывать видъ, что избътаетъ толпы, желаетъ отдълиться отъ нея 5), а съ другой всё его дёйствія и умёлость опредёляются расчетомъ на ея расположение 6); или когда его наставляють—никому и ничему не удивляться 7).—Не менъе условности въ новомъ идеалъ личной чести.

<sup>1)</sup> Il Cortegiano, lib. 1, c. XXIV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ib. c. XXV.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ib. c. XXVI.

<sup>4)</sup> Ib. l. II, c. XXXVIII—XL.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ib. c. VIII и XII.

<sup>6)</sup> Il Cortegiano, lib. I. c. XXII.

<sup>7)</sup> lib. II, c. XXXVIII.

которан является единственнымъ мъриломъ доблести 1): Cortegiano долженъ непремънно держать на памяти, что единственная причина, побуждающая его на войнъ, есть честь. Объ отечествъ ни слова; правда, времена стали другія, любовь къ родинѣ замѣнилась любовью къ правителю, который становится ея символическимъ выраженіемъ и нормой жизни. Оттого Cortegiano долженъ надо всемъ любить и даже обожать правителя, которому служить 2), и всёми силами стараться снискать его расположение, чтобы имъть возможность высказывать ему правду 3). Примъръ правителя—законъ для его подданныхъ 4); это освящаеть вмъшательство администраціи въ частную жизнь 5), между тъмъ какъ политическая-сведена къ идеалу золотой середины, mediocrità, между рабствомъ и свободой 6), надъ которой возвышается казовой идеалъ principe XVI-го въка: величе, соединенное съ привътливостью. con la grandezza una domestica mansuetudine 7). Какъ далеко ушли мы со всёмъ этимъ отъ политическихъ теорій, выработанных витальянскими городами! Когда въ концѣ XIV-го вѣка на флорентійскихъ посидѣлкахъ ставился роковой вопросъ о преимуществъ одного образа правленія передъ другимъ, отвѣтъ выпадалъ на сторону республики; въ четвертой книгв Cortegiano

<sup>1)</sup> Ib. c. VIII.

<sup>2)</sup> Ib. c. XVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ib. l. IV, c. V.

<sup>4)</sup> Ib. c. XXIII.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Ib. c. XLI.

<sup>6)</sup> Ib. C. XXXIII, «non in troppo servità..... nè meno in troppo libertà».

<sup>7)</sup> c. XXXVI.

на ту же тему говорять Паллавичино, Оттавіано Фрегозо и Бембо, и снова представляется прежній выборь 1)-только что богатство политическаго опыта и знакомство съ теоріями древнихъ внесло больше разнообразія, и мы можемъ выбирать теперь между оптиматами и олигархіей, между демократіей и правленіемъ плебса. Но отвѣть на этотъ разъ является другой: напрасно Бембо защищаетъ во имя человъческой свободы дёло республики; его доводы не выдерживають опроверженій Фрегозо, который заключаеть, что народы самимъ Богомъ поручены стражѣ правителей, которые должны о нихъ нечься, чтобы дать въ томъ отчеть, какъ върные намъстники своему господину, любить ихъ и почитать своимъ собственнымъ ихъ горе и радость и т. п.—На самомъ дълъ народъ забыть, онъ гдъ-то безмолвствуеть, если не является служебнымъ орудіемъ, -мы видёли это изъ отношеній къ нему Cortegiano; нравовъ плебса слъдуетъ избътать 2), его смъхъ и грубоватыя шутки, которыхъ не гнушался XIV въкъ, дерутъ ухо придворнаго человъка, и прежніе потъшные люди, piacevoli иотіпі, приближаются теперь къ понятію шутовъ, такъ называемыхъ buon compagni, которые въ обществъ признаются нетерпимыми <sup>3</sup>).—Самая новелла становится придворной, Биббізна и подводить подъ параграфъ реторики народную шутку и случайности фацецін <sup>4</sup>).

<sup>1) 1.</sup> IV. cc. XIX--XXIV.

<sup>2)</sup> Il Cortegiano, lib. II, c. XXXVIII.

<sup>3)</sup> Ib. c. XXXVI, ca. ib. cc. L II LXXXIX.

<sup>4)</sup> Ib. cc. XLI -LXVIII.

Подъ стать Cortegiano, идеалъ женщины сталь столь же условнымъ, если не болъе. Придворная дама, la donna di palazzo, уже совсѣмъ не напоминаетъ женщину, созданную новеллистами; она снова покидаетъ общество, и въ ней начинаютъ проявляться черты того рыцарскаго идеала, который казался забытымь, наравив съ произведениемъ Франческо да Барберино. Гинекей, разумъется, обратился въ салонъ, отлъданный во вкуст Renaissance, и вст условности обычая стали болже культурныя, требованія болже утонченныя. Вырабатывается искусственное понятіе о такъ называемой женственности, dolcezza femminile 1); женщина должна показывать въ разговорѣ извѣстную милую привътливость, una certa affabilità piacevole 2), и во всемъ нѣкоторую нѣжиую деликатность, molle delicatura, при чемъ, если у ней есть природный недостатокъ, въ излишней ли полнотъ или худобъ и т. и.. она можетъ скрыть его туалетомъ, но такъ, чтобы того никто не примътилъ <sup>3</sup>). Въ такихъ случаяхъ старый Франческо совътовалъ поменьше показываться въ люди. -- Когда Паллавичино находить необходимымь, чтобы она любила, потому что въ противномъ случав она лишила бы себя большей части своей привлекательности, --Юліанъ Медичи, которому собственно принадлежить этоть кодексь женскихь совершенствь, выключаеть замужнюю женщину: ей не совътуется любить вив брака, развв случится такое несчастіе, что ненависть къ мужу и роковая сила любви, противъ

<sup>1)</sup> Lib. III, c. IV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ib. c. V.

<sup>3)</sup> Ib. c. VIII.

которой невозможно устоять, вызоветь новую привязанность, которая во всякомь случай должна ограничиться духовнымь общеніемь <sup>1</sup>).

Мы видъли, какъ плохо отвъчала дъйствительность на эти требованія теоріи, еще такъ недавно сходившейся съ насущнымъ содержаніемъ жизни. На это постоянное колебание между теоріей и практикой правственности нельзя не обратить особеннаго вниманія изучающихъ развитіе нравственныхъ понятій. Въ ръдкія эпохи теорія и практика идуть рука объ руку, покрывають другь друга, и мы получаемь тогда впечатление извъстной пъльности и полноты. Еще новый шагь въ исторін-и между двумя областями наступаеть рознь, въ которой изследователю необходимо оріентироваться, чтобы не принять одну за другую и не заключить къ существованію реальныхъ отношеній, семейныхъ и общественныхъ, изъ правилъ того, либо другого Домостроя, которыя часто были лишь мертвой буквой, повторявшейся грамотеями изъ рода въ родъ, не съ върой и пониманіемъ, а какъ старина и дъянье.

(Впервые напечатано въ журн. «Бесъда», 1872 г. ч. II, кн. 3 и вторично въ Собр. соч. А. Н. Веселовскаго, 1909 г. т. IV, в. 1, изд. Имп. Ак. Наукъ).

<sup>1)</sup> Il Cortegiano, lib. III.

# Изъ поэтики розы.

Гдв наша роза, Друзья мон? Увяла роза, Дитя зари.

(Пушкинъ, «Роза»).

I.

Роза и лилія какъ-то затерялись среди экзотической флоры современной поэзіи, но еще не увяли и попрежнему служать тѣмъ же цѣлямъ символизма, выразителями котораго были въ теченіе вѣковъ. Средство осталось, содержаніе символа стало другое, болѣе отвлеченное, личное, нервное, расчленяющее; многіе изъ образовъ Гейне были бы непонятны поэтамъ, пѣвшимъ о розовой юности (rosea juventa) и создавшимъ эпитетъ «лилейный».

Какъ зарождается и развивается символика цвѣтовъ, безъ которой не обошлась ни одна народная или художественная поэзія? Качества мѣстной флоры опредѣлили тотъ или другой выборъ: нѣмецкая средневѣковая поэзія излюбила липу, фіалку; русская народная пѣсия—калину, вишию, руту, барвинокъ и

т. п.; красота цвътка, чаще его отношенія къ знаменаинеиж йонип. и йондодиди амкінэлак амыныля въ ихъ взаимодъйствін, выдвинули его передъ другими, вызвали рядъ ассоціацій: отъ емкости образа зависить ихъ количество и разнообразіе: на нихъ-то и перенесенъ интересъ, неръдко образъ цвътка почти исчезаеть за подсказаннымь ему человъческимь содержаніемь. Онъ въ сущности безразличень: весенній цвътокъ, каковъ бы онъ ни былъ, могъ всюду вызвать ть же чаянія и ту же работу мысли: въ тургеневскомъ: «Какъ хороши, какъ свѣжи были розы!-дъло не въ розахъ, а въ качествъ захватывающихъ воспоминаній. Оттого сходныя повёрья привязывались къ разнымъ цвъткамъ, легенды, пріуроченныя къ захожему цвътку, приставали къ туземному. Мпоологи должны принять въ расчеть эту возможность психологических совпаденій и исторических вліяній.

Такъ создавались цвътовые символы и вступали въ борьбу за жизнь: одни вымирали. либо удержались въ тъсныхъ границахъ какой-нибудь народной пъсни, другіе входили въ литературный круговоротъ, становясь въ широкомъ смыслъ международными. Побъда обусловлена отчасти тъмъ, что я выше назвалъ емкостью образа. Въ этомъ тайна его поэтической красоты; роза цвътетъ для насъ полнъе, чъмъ для грека, она не только цвътокъ любви и смерти, ио и страданія и мистическихъ откровеній; обогатилась не только содержаніемъ въковой мысли, но и всъмъ тъмъ, что про нее пъли на ея дальнемъ пути съ пранскаго востока.

Роза распространилась отъ Персін черезъ Фригію и Македонію до Грецін и Рима, отъ мусульманскихъ

окрапнъ до съвера Европы, куда проникла лишь въ христіанскую пору; съ ней перенесся и рой окружавшихъ ее южныхъ сказокъ, и часть поэтическаго символизма, объяснимаго лишь въ мъстностяхъ, гдъ роза была изъ туземныхъ раннихъ весеннихъ цвътовъ. Тамъ она естественно являлась въстницей весны, поры желаній и любви; символь весны сталь символомь любви, эмблемой Афродиты и Харить. Въ цёломъ рядё образовъ, еще и теперь звучащихъ въ поэзін, это отождествленіе развито до мелочей: роза-цвътокъ желанный, ее ищуть, къ ней стремятся; либо она еще не развилась, или завяла, отцвѣла, облетѣла; брать розы, плести изъ нихъ вѣнкипризнакъ любящаго; такъ уже у Аристофана и въ западно-славянскихъ народныхъ пъсняхъ; въ западной поэзін сорвать розу символизуеть то же, что русская п нъмецкая пъсни выражають реальнымъ образомъ сада, цвътника, который кто-то потопталь, обломаль. На этихъ представленіяхъ построена аллегорія Roman de la Rose; въ сказкахъ типа: La belle au bois dormant красавица погружена въ волшебный сонъ, все кругомъ нея замерло, застыло, и все снова зажило, расцвъло, когда явился суженый. Въ нъмецкой сказкъ дъвушка названа Dornröschen, роза на шипъ, въ греческой-Родья: роза.

Роза стала символомъ красавицы, милой; въ такомъ значеніи знаеть ее уже Плавтъ и народная романская поэзія. «Душистая роза моя» (Rosa fresca aulentissima), обращается къ дъвушкъ одинъ изъ древнъйшихъ итальянскихъ поэтовъ; «La verginella è simile alla rosa» (Аріосто)—подражаніе Катуллу; «въ понедъльникъ ты красавица, во вторникъ кажешься мнъ цвът-

комъ», ноется въ одномъ тосканскомъ rispetto; съ каждымъ днемъ—цвѣтокъ другой; «утромъ въ воскресенье ты—роза на шипѣ, а когда снова настанетъ понедѣльникъ, ты—роза, снятая со стебля».

> E poi vien la domenica mattina, Par che siete una rosa in sulla spina, Ritorna il lunedi dell'altra volta, Siete una rosa in sulla spina colta.

Когда въ византійской поэмѣ о Дигенисѣ его милая зоветь его прекрасной, распустившейся розой, роза понята, какъ символъ красоты вообще. «Ты роза, и я роза», поется въ одномъ критскомъ двустишіи: «будемъ расти вмѣстѣ, смѣшаемъ вѣтви, дабы ничто насъ не раздѣлило». Цвѣтъ розы—яркость желанія, но и краска стыдливости.

И въ то же время роза-символъ смерти; любовь и смерть уже у древнихъ силывались въ символъ мирта, сплетаются и въ современныхъ западныхъ повърьяхъ о розмаринъ. Дъло не въ философскомъ или романтическомъ отождествленіи этихъ идей, а въ наивномъ представлении древняго человѣка, держащемся еще и теперь, что весной не только обновляется все живущее, но и усопшіе, души предковъ временно оживають, показываются на земль, общаются съ людьми, желанные и страшные, таинственные. И для нихъ наставала весца, расцвътала роза: весной, когда совершались по нихъ поминки, на римской тризив (escae rosales) главную роль играли розы; ихъ дёлили между присутствовавшими, гирляндами украшали гробницы; обрядъ этотъ называли Rosaria или Rosalia. Онъ обобщился: розы стали принадлежностью похоронъ, ихъ возлагали на изображенія ларовъ—предковъ, домовыхъ, и у Гекаты быль вёнокъ изъ розъ.

Славянскія названія для цвътка: рожа, ружа, роза—указывають на латинское происхожденіе; къ намъ оно перешло отъ южныхъ славянъ, вмъстъ съ нимъ переселилась и память о русаліяхъ-тризнахъ и русалкахъ, духахъ усопшихъ, которыхъ когда-то на далекомъ югъ чествовали жертвою розъ.

### II.

Въ христіанскую пору всѣ эти представленія и обряды были заподозрѣны церковью, какъ языческіе, но красота символа восторжествовала. Возложение цвътовъ на могилы усопшихъ было запрещено, но обычай не вымеръ, о немъ говорять бл. Іеронимъ и Пруденцій; въ Германіи еще и теперь удержалось названіе Rosengarten для кладбища, а Розалін пережили въ западномъ обозначении Троицына дня: Пасха розъ (rosarum, rosata), что отвѣчаетъ славянской «русалін». Три розы на одномъ стеблѣ-знакъ, что въ семь будеть нев вста, говорять въ Германіи; но одинокая роза, расцвътшая осенью, предвъщаетъ смерть, а изъ бѣлыхъ цвѣтовъ шиповника вьютъ похоронные вънки для дъвушекъ. - Средневъковый рай полонъ розъ: Богородица представляется сидящей среди розовыхъ кустовъ, на которыхъ щебечутъ птички; ее вѣнчаютъ розами; розы распускаются на гробницахъ святыхъ, выростаютъ по смерти изъ ихъ устъ, глазъ и ущей: алыя и бълыя розы расцвъли въ январъ изъ шиповъ и терній, на которые бросился св. Францискъ, чтобы умертвить вождельнія тъла.

Символъ примѣнился къ новому міровоззрѣнію, но такъ, что его связи съ древнимъ легко услѣдить. Казалось бы, христіанству принадлежитъ пониманіе розы, какъ символа мученической крови, мученичества, въ противовѣсъ съ лиліей, символомъ невинности, цѣломудрія подвижника. Между тѣмъ роза и кровь сблизились уже въ классической древности: роза произошла отъ крови Адониса, смертельно раненаго вепремъ, влюбленная въ него Афродита смѣшала его кровь съ нектаромъ и превратила въ красный, какъ кровь, цвѣтокъ; либо роза была вначалѣ бѣлая, но стала алой отъ крови Афродиты, уколотой терніями, когда она искала Адониса. Въ мусульманскихъ легендахъ слышенъ отзвукъ того же представленія: роза окрасилась кровью влюбленнаго въ нее соловья.

Въ средніе вѣка, со времени св. Амвросія, роза стала символомъ крови Христовой, самого Христа. Христа страдающаго. «Взгляните на эту божественную розу,—говорить св. Бернардъ:—страданіе и любовь соперничають другь съ другомъ, чтобы придать ей яркость и цвѣть пурпура. Цвѣтъ, безъ сомнѣнія, отъ крови, истекшей изъ ранъ Спасителя... Какъ холодной ночью роза бываеть закрыта и раскрывается лишь утромъ при первыхъ лучахъ солнца, такъ и этотъ цвѣтокъ, Іпсусъ Христосъ, казалось, свернулся, точно отъ ночного холода, со времени грѣхопаденія перваго человѣка, но когда завершился кругъ временъ, онъ внезапно распустился подъ солнцемъ любви».

Вспомните «легенду» у Плещеева: «Былъ у Христа младенца садъ. И много розъ взростилъ Онъ въ немъ»,—

но розы побрали еврейскіе мальчики, а для Христова вънца остались одни лишь шипы:

И изъ шиповъ они сплели Вънокъ колючій для Него, И капли крови, вмъсто розъ, Чело украсили Его.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Германіи особый родъ розы (rosa rubiginosa) зовется «терновымъ вѣнцомъ Христа», красныя пятна на ея стеблѣ—слѣды Его кровн.

То же представление Христа розой мы встрътимъ на другомъ концѣ Европы, какъ христіанское толкованіе обычая, унаслідованнаго оть языческой старины. У елисаветпольскихъ армянъ есть праздникъ Вардаваръ, Преображение Христово; онъ замънилъ древнее празднованіе Афродиты, которой посвящена была роза; Вардаваръ означаеть сіяніе розы; пъсни, которыми обмѣниваются парни и дѣвушки въ навечеріе и ночь на Преображеніе, сопровождаются припѣвомъ, въ которомъ говорится о розъ. А христіанское толкованіе такое: что Христось до своего Преображенія быль подобень роз'в вь бутонь, а во время Преображенія изъ Его тъла разлилось и загорълось розовое сіяпіе, которое было и у Адама въ раю и которымъ Христосъ показалъ славу и величіе Творца.

Символика розы распространилась и на Богородицу. Это—жезлъ отъ корня Іессея, и цвътъ (Христосъ) выйдетъ изъ корня—такъ понимали пророчество Исайи; съ другой стороны жезлъ Аарона (Числ. XVII) сталъ символомъ Пресвятой Дъвы:

въ западныхъ изображеніяхъ Благовъщенія онъ изображенъ расцвътшимъ деревомъ, на немъ св. Духъ въ видъ голубя. Подъ вліяніемь этой символики измънился разсказъ первоевангелія Іакова (гл. ІХ), гдѣ на Іосифа, держащаго въ рукахъ жезлъ, спускается голубь въ знаменіе того, что онъ будеть обручникомъ Богородицы: этотъ жезлъ также расцвъталъ. Народная фантазія принялась работать въ этомъ направленіи: разсказывали, что въ числъ знаменій, бывшихъ о Рождествъ Спасителя, было и то, что изъ ствола бальзама выросъ голубь; либо въ саду одного изъ волхвовь вылетъль голубь изъ цвътка, что быль краше розы. У св. Бернарда роза-уже символъ Богородины, и этоть символь остался въ христіанской поэзін и искусствь: rosa mystica западнаго иносказанія. Въ примѣненіи къ жезлу Іессея Богородица-розовый кусть, роза-Христось. Видѣніе младенца Христа среди куста розъ въ цвъту встръчается въ житін св. Сузона; въ німецкихъ повірьяхъ и пісняхъ розы появляются на кустахъ, давно не дававшихъ цвъта, когда Богородица, уже зачавшая отъ св. Духа, пробиралась къ тернистой чащь; либо «роза Маріи» расцвътаетъ въ ночь на Рождество на кустъ, на которомъ Пречистая Дѣва повѣсила пеленки. Все это объясняеть образь, встрёчающійся въ нёмецкой пёснё и въ цъломъ рядъ малорусскихъ, бълорусскихъ и моравскихъ; на горъ стоятъ три ложа, три гроба, лежать въ нихъ Господь Богь, Богородица, св. Іоаннъ; надъ св. Дъвой выростаетъ роза, изъ нея вылетьла птичка: то не птичка, а сынъ Божій!-Лоза Іессея, жезлъ Аарона и Іосифа, съ покоющимся на немъ св. Духомъ-голубемъ-все это сближено

было съ образомъ розоваго куста, можетъ быть, съ представленіемъ райскаго крестнаго древа—и все это послужило символомъ Воскресенія или Вознесенія.

### III.

Двѣ символики розы встрѣтились на почвѣ русской народной поэзін, языческая и христіанская: русалки, олицетвореніе древнихъ Розалій, и мистическая роза-Богородица, изъ которой выпархиваеть къ небу птичка; въ первомъ случаѣ дѣло идетъ о захожемъ съ юга названін, во второмъ-о западнохристіанскомъ представленін. Наша собственно лирическая народная пъсня знаеть розу лишь въ неясныхъ очертаніяхъ. Въ одной бълорусской волочебной пѣснѣ дѣвушка холила червоную розу на огородъ, сплела изъ цвътовъ вънокъ, положила на головку, «пришпилила» и говорить: «Кабы у меня личико такое было, не ходила бы я пѣшкомъ, а ѣздила бы на шести коняхъ, на вороныхъ». Откуда ни взялись буйные вътры, унесли вънокъ за темные лъса, на быстрыя рѣки; дѣвушка проситъ братьевъ достать его, но они утомять коней, съкиры о лъса потупять, рѣкъ не замостять; быть тебѣ, сестрица, безъ «червонаго вънка». Вънокъ долженъ достаться лишь суженому, онъ сбережеть розу. «Покопаю лозу, да посажу рожу»-такъ начинается пъсня съ Волыни; за каждымъ стихомъ припевъ: Стороною, дождичекъ, стороною, не на ту рожечку червоную! Ее стерегуть отецъ, мать, братъ и сестра, не уберегли; только послъ сторожи милаго девушка говорить:

Твоя сторожа, не ощипана рожа.

Въ бълорусской свадебной пъснъ роза замънила народную руту, за ней остался—«желтый цвѣтъ»: въ другой, также свадебной, червоная роза говорить, что у нея нътъ бълаго цвъта. Очевидно, она замънила собою традиціонную калину, какъ, быть можеть, и въ слъдующей малорусской пъснъ: Зеленая дубрава, скажи ми правду: какое зелье раньше расцвътаеть, хрещатый барвинокъ, душистый василекъ или полная роза?-Раньше цвътеть барвинокъ, у василька три запаха, но нътъ краше полной, червоной розы. Слъдуетъ еще вопросъ дубравъ: какая самая ранняя весенняя птичка: зозуля, соловей или лебедь? Зозуля всѣхъ раньше вылетаеть, у соловья три напѣва, но нъть краше бълой лебедушки. Параллелизмъ завершается въ третьемъ вопросъ, приводящемъ къ уравненію: роза = лебедушка = мужняя жена. Кто засыпаеть зарю; молодая дёвушка, бёдная вдовушка или мужняя жена? Дъвушка засыпаетъ зарю, у бъдной вдовушки сорокъ думъ, но нътъ въ свътъ лучше мужней жены, «господыни».

Параллелизмъ не выдержанъ или перепутанъ, какъ въ одномъ варіантъ той же пъсни: василекъ, барвинокъ, червоная калина — мужняя жена, бъдная вдова, молодая дъвчина.

Чёмъ далёе на сёверъ, тёмъ болёе блекнетъ у насъ роза. Великорусская пёсня знаетъ лишь розовые цетты рядомъ съ алыми, голубыми или лазоревыми. Въ одной, очевидно, захожей пёснё дёвушка и парень препираются, задавая другъ другу неисполнимыя задачи. Сшей ты мнё платыще изъ розова листа (варіанты: изъ лазорева цвёта, либо изъ маковаго листа; изъ алаго цвёту, котораго нёту!), издёвается

дъвушка, а молодецъ ей въ отвътъ: Напряди мнъ дратвы изъ дождевой капли.—Въ соотвътствующей нижненъмецкой пъснъ дъло идетъ о платъъ изъ липовыхъ листьевъ, о кнутъ, свитомъ изъ воды и вина.

Едва ли мы не въ правъ заключить, что и розовые цвъты, и розовый листъ не указывають на живое, реальное представление о розъ; она и не вошла въ нашу народную пъсенную флору, какъ на западъ. Тамъ она пробиралась въ нее постепенно, изъ монастырскихъ садовъ и рыцарскихъ замковъ, гдф чудесный, захожій цв токъ холили и берегли за высокой оградой, а народная фантазія возбуждалась къ представленію какихъ-то запов'єдныхъ, тапиственныхъ цвътниковъ, куда пути заложены. Таково представленіе о Rosengarten' в въ Вормс в н въ Тирол в: къ послъднему ведутъ четверо золотыхъ воротъ, и обведенъ онъ, вмъсто стъны, шелковой нитью, но горе тому, кто проникнетъ къ его розамъ, ароматъ которыхъ разносится по лёсу: смёльчакъ поплатится рукой и ногой. Тамъ царитъ демоническій Лауринъ, похитившій красавицу Симильду; витязи старон вмецкой поэмы, носящей его имя, отваживаются на подвигь, Лауринъ взять въ плѣнъ, красавица освобождена. Демоническое существо, властитель розъ, напоминаетъ очертанія международной сказки: объ отцѣ, который, отъвзжая, спрашиваеть дочерей, какого гостинца каждой изъ нихъ привезти. Одна проситъ одного, другая другого, третья заказываеть привезти ей цвътокъ; чаще всего-это роза, она въ саду какогото чудовища, змѣя, волка; сорвать цвѣтокъ-поплатиться жизнью; отець откупается тымь, что обыщаеть свою дочь въ жены чудовищу-оборотню, который

внослѣдствін оказывается заклятымъ царевичемъ. Въ сказкѣ у Аванасьева цвѣтокъ не названъ: отвѣчая на вопросъ отца, дѣвушка рисуетъ что-то на бумагѣ и говоритъ: привези миѣ, батюшка, вотъ эдакой пвѣтокъ!

На западъ тайна Rosengarten'a была нарушена, и роза вошла въ оборотъ народной поэзін; v насъ было иначе, и понятно, почему легенды и иносказанія о роз' у насъ не свои. Таковъ символъ Богородицы-розы. По малорусскому повѣрью, несомнѣнно отреченнаго происхожденія, она и зачата отъ розы; болгарское повърье замъняеть розу василькомъ. Въ старофранцузскомъ романѣ объ императорѣ Фануилъ сходное разсказывается, по какому-то апокрифу, о бабкъ Богородицы, будто бы дочери Авраама: она зачала, понюхавъ отъ райскаго дерева, древа познанія добра и зла, отъ плода котораго вкусиль Адамъ. Господь велёлъ перенесть дерево въ вертоградъ Авраама: на этомъ древъ будетъ расиятъ Христосъ; пока ангелъ спускается каждый день на древо и цвътокъ, оберегая ихъ. Евреи обвиняють дъвушку въ порочной жизни: она ввержена въ пламя, но Госполь покрыль ее цвътами, розами; до тъхъ поры розы не водились на землъ; огненные языки обратились въ лилін, розы и цвъты шиповника, искры-въ птички. Назвали то мѣсто Champ-flori—цвѣтникъ; тамъ будеть страшный судь; обычное преданіе относить его къ Іосафатовой долинъ.

Легенда эта встръчается въ мъстномъ пріуроченін къ Виелеему; такъ у Псевдо-Мандевилля дъло идетъ о безыменной дъвушкъ, обвиненной въ нарушенін цъломудрія; она осуждена на костеръ, но горящія

головни обращаются въ красныя, сырыя—въ бѣлыя розы, первыя розы на землѣ. Это одна изъ многихъ легендъ, примкнувшихъ къ кругу поэтическихъ сказаній о Богородицѣ, къ евангельскому разсказу о сомнѣніяхъ Іосифа.

Мъсто дъйствія въ Champ-fleuri, долинъ цвътовъ, скоръе розъ; въ одномъ современномъ греческомъ преданіи, тождественномъ съ Мандевиллевскимъ, говорится именно о долинъ розъ. Старофранцузское fleur стало какъ-бы показателемъ розы; дъйствующія лица византійско-французскаго романа носятъ имена Floire и Blanchefleur: она бълая роза или лилія, онъ—красная роза; замъчу, что Champ-flori—старофранцузскій синонимъ рая.

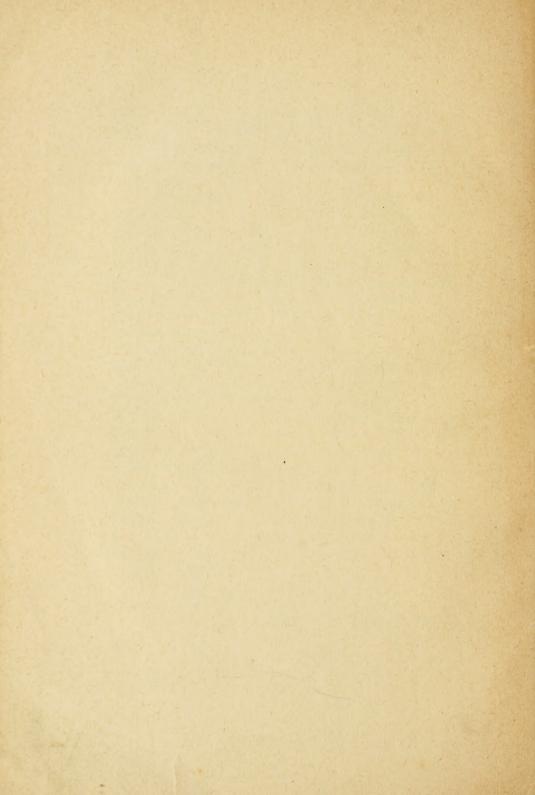
Такъ языческая символика розы проникла въ кругозоръ христіанства, порой ярко вспыхивая, часто одухотворяясь. Отъ Афродиты и Адониса путь былъ долгій, и новое освъщеніе не всегда одолъвало старое пониманіе образа. У Данте роза—Богородица (Par. XXIII, 73), въчными розами зовутся избранники (ibid. XII, 19), рай—гигантская роза, бълая, въчная, ея лепестки—святые, святая дружина, съ которой Христосъ сочетался своей кровью; ангелы, бълоснъжные, съ золотыми крыльями, спускаются въ нее, точно рой пчелъ, принося миръ и любовь (ib. XXXI). А у Гейне соловей еще влюбленъ въ розу, какъ въ восточныхъ сказкахъ, и роза искрится любовью; но этого намъ не понять:

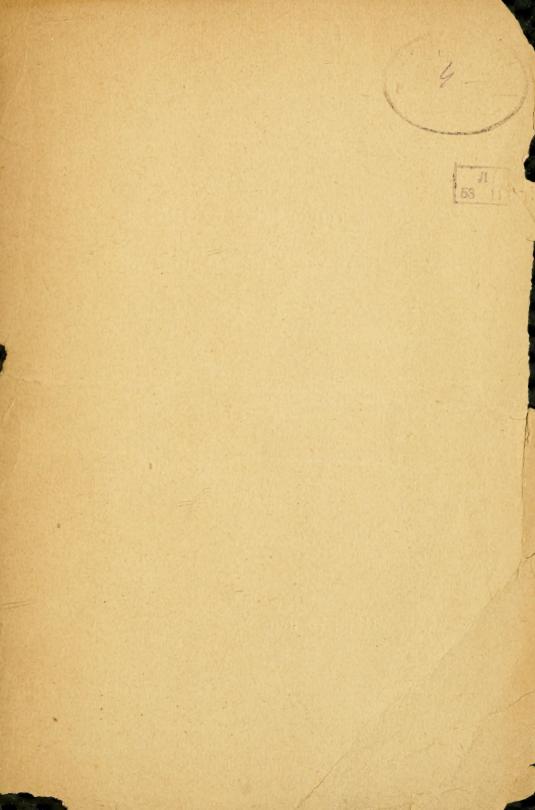
Diese Welt glaubt nicht an Flammen, Und sie nimmt's für Poesie.

(Heine, Neuer Frühling, № 34).

(Изъ Сбори. «Привътъ», 1898, СПБ.)







C 1/61 s. H.

# ТОГО ЖЕ АВТОРА

въ складъ (В. О., Средній пр., 19) имъется:

В. А. Жуковскій. «Поэзія чувства и сердечнаго воображенія».—Ц. 3 р.

Петрарка въ поэтической исповѣди Сапzoniere. Ц. 80 к

Нушкинъ-національный поэтъ. Ц. 20 к.

Цѣна 75 коп.